



ДЖОАНН ХАРРИС

ОСТРОВ НА КРАЮ СВЕТА

Джоанн Харрис
Остров на краю света
Серия «Магия жизни»

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=654005
Остров на краю света: Эксмо, Домино; М.; 2018
ISBN 978-5-04-095733-0

Аннотация

На крошечном бретонском островке ничего не менялось вот уже больше ста лет. Поколение за поколением бедная деревушка Ле Салан и зажиточный городок Ла Уссиньер вели борьбу за единственный на острове пляж. Но теперь все изменится.

Вернувшись на родной остров после десятилетнего отсутствия, Мадо обнаруживает, что древнему дому ее семьи угрожают приливные волны и махинации местного богача. Хуже того, вся деревня утратила волю и надежду на лучшее.

Но Мадо, покрутившаяся в парижской круговерти, готова горы свернуть. Заручившись поддержкой невесты как попавшего на остров чужака, она пытается мобилизовать земляков на подвиги. Однако первые же ее успехи имеют неожиданные последствия...

Содержание

Благодарности	5
Пролог	6
Часть первая	13
1	13
2	25
3	29
4	39
5	47
6	56
7	64
8	73
9	78
10	85
11	100
12	110
13	121
Конец ознакомительного фрагмента.	124

Джоанн Харрис

Остров на краю света

© Т. Боровикова, перевод, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

* * *

*Человек не остров, не просто сам по себе;
каждый человек – часть континента, часть целого.
Джон Донн*

*Обращения к Господу в час нужды и бедствий.
(Перевод Игоря Померанцева)*

*В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо – в чашечке цветка.*

Уильям Блейк

*Изречения невинности
(Перевод С. Маршака)*

Благодарности

Книга – не остров, и я хочу поблагодарить тех, без кого она не состоялась бы. Я сердечно благодарна своему литературному агенту Серафине Уорриор Принсесс, Дженнифер Люитлен, Говарду Морхейму и всем остальным, кто переговорами, уговорами, вымогательством и разными прочими способами проталкивал публикацию книги. Еще спасибо моему редактору Дженнифер Херши и всем моим друзьям в [издательской группе] «Эйвон Морроу»; Кевину и Анушке, которые почти постоянно служили для меня тихой гаванью; моим друзьям по (электронной) переписке Курту, Мэри, Эмме, Саймону и Джулсу за то, что поддерживали связь между мной и всем остальным миром; Стиви, Полу и Дэвиду – за мятный чай и блинчики; Чарльзу де Линту – еще одно спасибо, а также мои извинения за нечаянную кражу двух вороньих перьев, а Кристоферу Фаулеру спасибо за то, что не вешал трубку. И бесчисленным продавцам книжных магазинов и книготорговцам – тем, кто потрудились, чтобы мои книги стояли на полках; и, наконец, жителям Ле Салана, которые, я надеюсь, когда-нибудь все же меня простят.

Пролог

Острова – иные. И чем меньше остров, тем это верней. Возьмем Британию. Не верится, что эта узкая полоска суши вмещает столько своеобразия. Крикет, чаепития, Шекспир, Шеффилд, рыба с жареной картошкой в пахнущей уксусом газетной бумаге, Сохо, два древних университета, побережье Саут-Энда, полосатые шезлонги в Грин-парке, «Улица Коронации»¹, Оксфорд-стрит, праздные послеполуденные часы воскресенья. Так много противоречий. Шествуют толпой, как поддатые демонстранты, еще не понявшие, что протестуют-то они в основном друг против друга. Острова – первопроходцы, раскольники, протестанты, изгои, изоляционисты от природы. Они, как уже было сказано, иные.

Вот, например, этот остров. Из конца в конец на велосипеде проедешь. Пешком по воде за полдня доберешься до материка. Колдун и окружившие его островки застряли, как стайка крабов, на мелководье у побережья Вандеи². Со стороны материка его загораживает Нуармутье³, с юга – Йё, и в туманный день его можно вообще не заметить. На картах он едва виден. Да, по правде сказать, он и не заслуживает назы-

¹ Самый долгоиграющий из всех ныне идущих британских телесериалов и самая популярная в Британии телепередача.

² *Вандея* – департамент в Западной Франции.

³ *Нуармутье*, Йё – острова в Бискайском заливе, принадлежат Франции.

ваться островом – возомнившая о себе кучка песчаных дюн, скалистый хребет, вздымающий их из атлантических волн, пара деревушек, рыбозаводик, единственный пляж. В дальнем конце – моя родина, Ле Салан⁴, нестройный ряд домишек – трудно даже деревней назвать – спускается через скалы и дюны к морю, что подползает ближе с каждым «злым приливом». Дом, от которого никуда не денешься, место, куда указывает компас сердца.

Если б это зависело от меня, может, мой выбор пал бы на какое-нибудь другое место. Может, где-нибудь в Англии, где мы с мамой были счастливы почти год, пока моя неуемность не погнала нас дальше. Или Ирландия, или Джерси⁵, Айона⁶, Скай⁷. Видите, я, словно инстинктивно, выбираю острова, будто пытаюсь частично воссоздать свой остров, Колдун, – единственное место, которое ничем не заменить.

Формой остров напоминает спящую женщину. Ле Салан – голова, плечи сгорблены, чтоб защититься от непогоды. Ла Гулю – живот, Ла Уссиньер – укромная ложбинка под согнутыми коленями. Кругом Ла Жете хоровод песчаных островков, которые то разрастаются, то убывают по воле приливов, что медленно меняют линию берега – одну сторону подгрызут, другую нарастят, и форма островков так перемен-

⁴ Les Salants (фр.) – солончаки.

⁵ Джерси – остров, территория Британии, расположен у побережья Франции.

⁶ Айона – один из Гебридских островов, расположен у побережья Шотландии.

⁷ Скай – остров, расположен у западного побережья Шотландии.

чива, что мало кто из них успевает заслужить собственное имя. Дальше лежит полная неизвестность – отмель за Ла Жете резко обрывается, и дно уходит в никем не измеренные глубины; островитяне зовут это место Нидпуль⁸. Если положить записку в бутылку и бросить в море с любого места на острове, она, скорее всего, вернется на Ла Гулю, что значит «жадина» – берег, за которым сгрудились домишки Ле Салана, словно прячась от пронизывающего ветра с моря. Ле Салан располагается к востоку от каменистого мыса Грино, а это значит, что зернистый песок, ил и прочие отбросы – все скапливается тут. Сильные приливы и зимние шторма еще усугубляют дело – они воздвигают на каменистом берегу целые крепостные стены из водорослей, и эти стены могут простоять полгода или год, пока их не снесет очередным штормом.

Так что, как видите, Колдун не блещет красотой. Скрюченная фигура острова схематична и груба, совсем как у Марины Морской – нашей святой покровительницы. Туристы тут редки. Их почти нечем привлечь. Если с воздуха острова похожи на балерин, закружившихся в танце, то Колдун – дурнушка в последнем ряду кордебалета, забывшая свои па. Мы отстали, она и я. Танец продолжается без нас.

Но остров сохранил свою суть. Полоска суши в несколько километров длиной, и все же у нее свой характер, наречия, кухня, обычаи, платья – и все столь же отличается от других

⁸ Nid'Poule (фр.) – выбоина, яма на дороге.

островов, как все острова – от материковой Франции. Жители Колдуна считают себя островитянами – не французами и даже не вандейцами. У них нет никаких политических симпатий. Мало кто из сыновей островитян считает нужным служить в армии. Остров так далек от центра событий, что это кажется абсурдным. И так далек от всякой официальности и закона, что живет по законам собственным.

Впрочем, нельзя сказать, что здесь не любят чужаков. Наоборот, мы бы привлекали на остров туристов, если б только знали как. В Ле Салане туристы означают достаток. Мы смотрим через пролив на Нуармутье, с его отелями, пансионатами, магазинами и огромным красивым мостом, соединяющим остров и материк. Там дороги летом запружены машинами с иностранными номерами, с кучами багажа на крышах, пляжи чернеют от людей, и мы пытаемся представить себе, что было бы, если бы все эти туристы оказались у нас. Но мечта остается мечтой. Туристы – те немногие, что отваживаются забраться подальше, – застревают в Ла Уссиньере, на другой стороне острова. В Ле Салане, с его скалистым беспляжным берегом, с его каменными дюнами, сцементированными грубым песком, с его беспрестанным резким ветром, их нечем заманить.

Жители Ла Уссиньера это знают. Меж уссинцами и саланцами идет распря, уже так давно, что никто не помнит, когда она началась. Сначала религиозные несогласия, потом споры за право ловли рыбы, права на строительство, торговлю

и, конечно, землю. По закону осушенная земля принадлежит тому, кто ее осушил, и его потомкам. Это единственное богатство саланцев. Но уссинцы контролируют доставки с материка (единственный паром принадлежит старейшей семье Ла Уссиньера) и устанавливают цены. Если уссинцу представляется случай надуть саланца, он не преминет это сделать. Если саланцу удастся одержать верх над уссинцем, торжествует вся деревня.

А еще у Ла Уссиньера есть тайное оружие. Оно называется «Иммортели» – это маленький песчаный пляж в двух минутах от гавани, с одной стороны его прикрывает древний мол. Здесь яхты скользят по воде, укрытые от западных ветров. Это единственное место, где можно купаться и ходить под парусом, не опасаясь сильных течений, раздирающих остров. Этот пляж – игра природы – и составляет главную разницу между двумя общинами. Деревня разрослась в городок. Из-за пляжа Ла Уссиньер, по островным меркам, процветает. Здесь есть ресторан, гостиница, кинотеатр, дискотека, кемпинг. Летом заливчик набит яхтами отдыхающих. В Ла Уссиньере располагаются мэр острова, полицейский, почта и единственный священник. В августе несколько семей с побережья снимают тут дома и приносят с собой оживление в торговле.

Ле Салан летом, напротив, совершенно мертвеет, задыхается, дубеет на жаре и ветру. Но для меня это все равно дом. Не самое прекрасное место в мире и даже не самое гостепри-

имное. Но мое.

Все возвращается. На Колдуне это вечное присловье. Людям, живущим на обрывке пестрого подола Гольфстрима, оно сулит надежду. Рано или поздно все возвращается. Разбитые лодки, послания в бутылках, спасательные круги, обломки кораблекрушения, потерявшиеся в море рыбаки. Ла Гулю тянет к себе, и многие не в силах противиться его тяге. Могут пройти годы. Материк завлекает – там деньги, большие города, незнакомая жизнь. Трое из четырех детей покидают остров в восемнадцать лет, мечтая о мире, что лежит за пределами Ла Жете. Однако Жадина не только голоден, но и терпелив. И для людей вроде меня, которых больше ничто нигде не держит якорем, возвращение, похоже, неизбежно.

У меня своя история, когда-то была. Теперь это уже не важно. На Колдуне никто не интересуется никакой историей, кроме здешней. Чего только не выкидывает на наш берег – обломки, пляжные мячи, дохлых птиц, пустые бумажники, дорогие кроссовки, пластиковые вилки, даже людей, – и никто не спрашивает, откуда они взялись. То, что никому не пригодилось, море забирает обратно. И разные морские твари тоже порой приходят этим торным путем – португальские кораблики, акулы-няньки, морские коньки, хрупкие морские звезды, иногда киты. Они остаются или уходят – диковины, на них можно поглазеть несколько мгновений и забыть, как только они покинут наши воды. Для островитян нет ничего за пределами Ла Жете. Если выйти за Ла Жете

и двигаться дальше, ничто не нарушит линию горизонта, пока не завиднеется Америка. За эти пределы никто не ходит. Никто не изучает приливы и то, что они приносят. Только я. Но меня тоже принесло морем, так что я имею право.

Взять, например, этот пляж. Это удивительное явление. Один остров, единственный пляж; удачное сочетание приливов и течений; сто тысяч тонн древнего песка, упорного, как скала, и от тысяч завистливых взглядов он словно позолотел, став драгоценнее золотой пыли. Разумеется, он обогатил уссинцев, хотя все мы – и уссинцы, и саланцы – знаем, что это богатство случайно и с тем же успехом все могло быть ровно наоборот.

Чуть сместится течение, будет приходить на сотню метров правее или левее. На градус изменится направление ветра. Поменяется рельеф дна. Случится сильный шторм. Любое из этих событий в любой момент может катастрофически изменить ситуацию на противоположную. Удача как маятник, одно качание занимает десятилетия, и тень его несет с собой неизбежность.

Ле Салан все еще ждет, терпеливо, с надеждой, момента, когда маятник пойдет в другую сторону.

Часть первая

Обломки кораблекрушения

1

Я вернулась после десятилетнего отсутствия в жаркий день, в конце августа, накануне первых «злых приливов» летнего сезона. Я стояла на палубе старого парома «Бри-ман-1» и смотрела на приближающийся Ла Уссиньер – все было так, словно я никогда и не покидала остров. Все было точно как раньше: резкий запах, палуба под ногами, крики чаек в жарком синем небе. Десять лет, едва не полжизни, стерто одним взмахом, словно каракули на песке. Ну или почти так.

У меня было очень мало багажа, и это усиливало иллюзию. Но я всегда путешествовала налегке. У обеих, у матери и у меня, никогда не было много балласта. Под конец я оплачивала нашу парижскую квартиру заработками в сомнительном ночном кафе, вдобавок к доходам от продажи картин, которые мать так ненавидела, а она в это время боролась с эмфиземой: умирала и делала вид, что не знает об этом.

Конечно, мне хотелось бы вернуться богатой, успешной. Показать отцу, что мы и без его помощи обошлись. Но

скромные сбережения матери давно растаяли, а мое состояние – несколько тысяч франков на счету в банке «Морской кредит» и стопка непроданных картин – вряд ли больше того, что у нас было при отъезде. Хотя это не имело никакого значения. Я не собиралась оставаться. Какой бы сильной ни была иллюзия застывшего времени, у меня теперь другая жизнь. Я изменилась.

Никто не обращал ни малейшего внимания на меня, стоявшую поодаль от прочих пассажиров на палубе «Бримана-1». Был самый разгар сезона, и на борт набилось немало туристов. Некоторые были даже одеты точно как я, в парусиновые штаны и *vareuse*⁹ – бесформенное одеяние, нечто среднее между рубашкой и курткой, – горожане, что изо всех сил старались не выглядеть горожанами. Туристы с рюкзаками, чемоданами, собаками и детьми сгрудились на палубе меж ящиками фруктов и бакалеи, курами в клетках, почтовыми мешками и коробками. Шум был ужасный. Фоном служило «хшшшш» моря о корпус парома и чаечье «скриииии». Сердце мое билось в такт прибою.

Пока «Бриман-1» подходил к заливу, я смотрела через водную гладь на эспланаду. Ребенком я любила тут бывать; часто играла на пляже, пряталась под тяжелыми животами пляжных веранд, пока отец занимался своими делами в гавани. Я узнала выцветшие зонтики фирмы «Шоки» на террасе маленького кафе, где любила сидеть моя сестра; тележку

⁹ *Vareuse* (фр.) – рыбацкая или матросская блуза.

продавца сосисок; сувенирную лавочку. Народу стало, пожалуй, больше; вдоль берега выстроился неровный ряд рыбаков с омарами и крабами в садках – улов продают. С эспланады доносилась музыка; ниже эспланады, на пляже, играли дети, и пляж, несмотря на прилив, казался глаже и роскошнее, чем мне помнилось. Похоже, дела в Ла Уссиньере идут неплохо.

Я бродила взглядом по улице Иммортелей – главной улице города, идущей параллельно берегу. Вон трое сидят бок о бок там, где когда-то было мое любимое местечко: волнолом под эспланадой, глядящий на залив. Помню, ребенком я сживала тут, глядя на далекую серую челюсть материка и гадая, что же там такое. Я прищурилась, чтобы разглядеть получше; даже с середины залива видно было, что два человека из трех монахини.

Паром приблизился, и я разглядела их отчетливей: это были сестра Экстаза и сестра Тереза, кармелитки, что Христа ради ухаживали за обитателями дома престарелых на улице Иммортелей. Монахини были старухами еще до моего рождения. Меня странно обрадовало то, что они никуда не делись. Обе, подоткнув подолы облачений до колен, сидели и ели мороженое. Рядом мужчина, лицо закрыто широкополой шляпой; это мог быть кто угодно.

«Бриман-1» развернулся вдоль пристани. Перебросили сходни, и я стала ждать, пока сойдут отдыхающие. На пристани было так же тесно, как на пароме: стояли торговцы напитками и выпечкой; водитель такси зазывал пассажиров;

дети с багажными тележками соперничали за туристов. Даже для августа было необычайно людно.

– Мадемуазель, поднести вам багаж? – Меня тянул за рукав круглолицый мальчик лет четырнадцати в застиранной красной футболке. – Поднести вам багаж в гостиницу?

– Спасибо, я сама, – показала я ему свой чемоданчик.

Мальчик поглядел удивленно, словно пытаюсь понять, где он меня видел раньше. Потом пожал плечами и двинулся на поиски новой удачи.

На эспланаде тоже была толпа. Отъезжающие туристы, прибывшие туристы, а меж ними уссинцы. Я покачала головой в ответ на попытку какого-то старика продать мне брелок из морских узлов; это был Жожо Чайка, который летом катал нас на лодке, и хотя он никогда не был мне другом – в конце концов, он уссинец, – меня кольнула обида из-за того, что он меня не узнал.

– Вы здесь надолго? Отдыхать приехали?

Снова подошел тот круглолицый мальчик, но уже не один, а с приятелем – темноглазым юнцом в кожаной куртке, который курил сигарету скорее с апломбом, чем с удовольствием. Оба мальчика несли чемоданы.

– Я не туристка. Я родом из Ле Салана.

– Ле Салана?

– Да. Я дочь Жана Прато. Который строит лодки. Или строил.

– Жана Большого Прато! – Мальчики поглядели на меня

с нескрываемым любопытством.

Они, может, сказали бы больше, но тут к нам подошли еще три подростка. Самый старший с начальственным видом обратился к круглолицему.

– Чего это вы, саланцы, тут делаете, а? – важно спросил он. – Вы что, не знаете, что это уссинский берег? Вам не позволено таскать багаж в «Иммортели»!

– Кто сказал? – возразил круглолицый. – Набережная не ваша! И туристы не ваши.

– Правда, Лоло, – сказал темноглазый мальчик. – Мы первые пришли.

Двое саланцев чуть подались друг к другу. Уссинцы превосходили их числом, но я поняла, что мальчики готовы драться, лишь бы не отдать чемоданы. На мгновение я вспомнила себя в этом возрасте – как я ждала отца и не обращала внимания на смех хорошеньких девочек-уссинок, сидящих на террасе кафе, пока наконец их насмешки не становились невыносимыми, и тогда я спасалась под полы пляжных беседок.

– Они первые пришли, – сообщила я троиче. – Так что идите себе.

Уссинцы несколько секунд глядели на меня презрительно, потом, что-то бормоча, удалились в сторону пристани. Во взгляде Лоло светилась чистая благодарность. Его друг лишь плечами пожал.

– Я пойду с вами, – сказала я. – «Иммортели», значит?

Большой белый дом стоял лишь в нескольких сотнях метров от эспланады. В стародавние времена тут был дом престарелых.

– Тут теперь гостиница, – сказал Лоло. – Хозяин мсье Бриман.

– Да, я его знаю.

Клод Бриман: коренастый усинец с карикатурно пышными усами, пахнувший одеколоном, обутый в эспадрильи¹⁰, словно крестьянин. Голос его звучал сочно и дорого, как хорошее вино. Бриман Лис, звали его в деревне. Бриман-Удачник. Много лет я была уверена, что он вдовец, несмотря на слухи, что у него где-то на материке жена и ребенок. Хоть и усинец, он мне нравился: бодрый, разговорчивый, карманы всегда набиты сладостями. Мой отец его ненавидел. Адриенна, моя сестра, словно назло, вышла за его племянника.

– Теперь все в порядке. – Мы дошли до конца эспланады. Через две стеклянные двери я видела вестибюль «Иммортелей» – конторку, вазу с цветами, крупного мужчину, что сидел у открытого окна и курил сигару. На секунду я задумалась, не войти ли внутрь, потом решила, что не стоит. – Я думаю, дальше вы уже и сами справитесь. Вперед.

Они пошли: темноглазый не сказал ни слова, Лоло скорчил гримасу, извиняясь за друга.

– Не обращайтесь внимания на Дамьена, он всегда такой, – тихо сказал он. – Вечно нарывается на ссоры.

¹⁰ Эспадрильи – сандалии на веревочной подошве.

Я улыбнулась. Я тоже была такая. Моя сестра, четырьмя годами старше, в хорошеньких платьицах и с прической из парикмахерской, всегда умела вписаться в компанию; на террасе кафе она всегда смеялась громче всех.

Я перешла оживленную улицу, направляясь туда, где сидели две старые кармелитки. Я сомневалась, что они меня узнают – саланку, которую последний раз видели девочкой, – но в те давние времена я их любила. Подойдя ближе, я увидела, что они совсем не изменились, и меня это ничуть не удивило: ясноглазые, но загорелые и выдубленные, словно высушенные солнцем вещи, что находишь на берегу. Сестра Тереза носила черный платок, а не белый *quichenotte* – чепец островитянок; а то я, может, и не отличила бы монахинь друг от друга. Мужчина, сидевший рядом, с ниткой кораллов вокруг шеи, в шляпе с обвислыми полями, закрывавшей глаза, был незнакомый. Лет тридцати, лицо приятное, но не ослепительный красавец; может, отдыхающий, но это не вязалось с непринужденностью, с какой он меня приветствовал, – типичный островной молчаливый кивок.

Сестра Экстаза и сестра Тереза пристально оглядели меня и тут же расплылись одинаковыми сияющими улыбками.

– Да это же дочурка Жана Большого.

Они так долго жили вне монастыря, вместе, что переняли друг у друга характерные черточки в поведении. Говорили они тоже одинаково – быстро, надтреснутыми голосами, как сороки. У них развилось особое взаимопонимание, как

бывает у близнецов, – они заканчивали фразы друг за друга, и каждая снабжала речь другой, словно запятыми, утвердительными жестами. Как ни странно, они никогда не пользовались именами – всегда называли друг друга *ma soeur*¹¹, хотя, насколько мне известно, не состояли в родстве.

– Это Мадо, *ma soeur*, малютка Мадлен Прато. Как она выросла! Здесь, на островах...

– ...время летит так быстро. Кажется, всего пара лет...

– ...как мы сюда приехали, а мы уже постарели...

– ...и выжили из ума, *ma soeur*, выжили из ума. А до чего мы рады тебя видеть, малютка Мадо! Ты всегда была другая. Совсем-совсем не похожа на...

– ...свою сестру.

Последние слова старушки произнесли хором, блестя черными глазами.

– Я так рада, что вернулась. – Только произнеся эти слова, я поняла, до чего я на самом деле рада.

– Здесь мало что переменялось, верно, *ma soeur*?

– Да, почти совсем ничего. Только...

– Все постарело, только и всего. Как и мы. – Монахини деловито покачали головами и опять занялись мороженым.

– Я гляжу, «Иммортели» перестроили, – сказала я.

– Верно, – кивнула сестра Экстаза. – Большую часть, во всяком случае. Из нас еще кое-кто остался на верхнем этаже...

¹¹ Сестрица (*фр.*).

– Долгоживущие гости, как Бриман нас называет...

– Но совсем немного. Жоржетта Лойон, Рауль Лакруа, Бетта Планпен. Они постарели и перестали справляться, и он купил у них дома...

– Купил задешево и перестроил для отдыхающих...

Монахини переглянулись.

– Бриман держит их тут только потому, что монастырь платит за них деньги. Он не ссорится с церковью. Он-то знает, с какой стороны у него облатка намазана маслом...

Обе задумчиво умолкли и принялись облизывать мороженое.

– А это Рыжий, малютка Мадю. – Сестра Тереза указала на незнакомца, который, ухмыляясь, слушал их речи.

– Рыжий, англичанин...

– Пришел свести нас с пути истинного лестью и мороженым. В наши-то годы.

Он покачал головой.

– Не верьте им, – посоветовал он, все так же ухмыляясь. – Я к ним подлизываюсь только для того, чтоб они не разболтали моих секретов.

Он говорил с сильным, но приятным акцентом.

Сестры захихикали.

– Секреты, а! Да, от нас мало что укроется, верно, *ta soeur*, может, мы и...

– ...старухи, но со слухом у нас все в порядке.

– Люди не обращают на нас внимания...

– ...потому что мы...

– ...монахини.

Человек, названный Рыжим, посмотрел на меня и улыбнулся. У него было умное, своеобразное лицо, которое озарялось, когда он улыбался. Я чувствовала, что он разглядывает меня в мельчайших подробностях, не с дурными намерениями, но с выжидательным любопытством.

– Рыжий?

У островитян в обиходе прозвища. Если зовешь людей не по прозвищам, значит, ты иностранец или с материка.

Он снял шляпу и взмахнул ею в шутовском поклоне.

– Ричард Флинн: философ, строитель, скульптор, сварщик, рыбак, мастер на все руки, предсказатель погоды, а самое главное – исследователь пляжей и искатель пляжных сокровищ. – Он неопределенно махнул рукой в сторону пляжа «Иммортели».

Сестра Экстаза сопровождала его слова восторженным надтреснутым хихиканьем, так что, судя по всему, эта шутка была ей знакома.

– От него ни мне, ни тебе добра не ждать, – объяснила она.

Флинн засмеялся. Я заметила, что волосы у него почти в цвет корольков на шее. «Рыжий, красный – человек опасный», – говаривала мать, хотя на островах рыжие встречаются редко и считается, что рыжина приносит удачу. Вот и разгадка. Но все равно, если ты обзавелся прозвищем на Колдуне – значит, занял определенное положение, что для ино-

странца редкость. Островное имя так сразу не заработаешь.

– Вы здесь живете? – Мне в это не верилось. Мне почудилась в нем какая-то неумность, что-то неуловимое.

Он пожал плечами.

– Ну где-то ж надо жить.

Меня это несколько удивило. Как будто ему все равно, где жить. Я попробовала представить себе, каково это – когда тебе все равно, где твой дом, когда он не тянет тебя постоянно за сердце. Невыносимая свобода. И все же его наградили прозвищем. А я всю жизнь была просто *la fille à Grosjean*¹² и моя сестра тоже.

– Так. – Он ухмыльнулся. – А чем вы занимаетесь?

– Я художник. То есть я рисую и продаю свои работы.

– А что вы рисуете?

Мне вспомнилась на миг наша парижская квартирка и комната, где у меня была мастерская. Крохотная, слишком маленькая для гостиной – но и эту мать уступила скрепя сердце, – к стене прислонены мольберт, папки, холсты. Мать любила говорить, что я могу нарисовать что угодно. У меня дар. Чего же я тогда рисую все одно и то же? Воображения не хватает? Или нарочно, чтобы ее помучить?

– В основном острова.

Флинн поглядел на меня, но ничего больше не сказал. Глаза у него были такого же грифельного цвета, как полоска туч на горизонте. Мне показалось очень трудно смотреть в эти

¹² Дочка Жана Большого (*фр.*).

глаза, словно они меня насквозь видели.

Сестра Экстаза доела мороженое.

– А что же твоя мама, малютка Мадо? Она тоже здесь?

Я заколебалась. Флинн все еще смотрел на меня.

– Она умерла, – ответила я наконец. – В Париже. А сестра так и не приехала.

Монахини перекрестились.

– Жалко, малютка Мадо. Ай-яй-яй как жалко.

Сестра Тереза взяла меня за руку иссохшими пальцами. Сестра Экстаза погладила меня по коленке.

– Ты закажешь панихиду в Ле Салане? – спросила сестра Тереза. – Ради отца?

– Нет. – В моем голосе до сих пор слышалась резкость. – Это уже прошлое. И она сама всегда говорила, что никогда сюда не вернется. Даже в виде праха.

– Жаль. Так для всех было бы лучше.

Сестра Экстаза бросила на меня быстрый взгляд из-под полей *quichenotte*.

– Наверняка ей тут нелегко было. Острова...

– Я знаю.

«Бриман-1» снова отчаливал. На миг я совершенно растерялась.

– Да и отец не облегчал дела, – сказала я, все еще глядя вслед уходящему парому. – Но все-таки теперь он от нее освободился. Он же этого и хотел. Чтобы его оставили в покое.

– Прато? Это островная фамилия.

Таксист – уссинец, которого я не узнала, – говорил обвиняюще, словно я нахально присвоила чужое имя.

– Да. Я тут родилась.

– Э. – Водитель оглянулся на меня, словно пытаюсь разобратить знакомые черты. – У вас и родня тут есть?

Я кивнула.

– Отец, в Ле Салане.

– А.

Таксист пожал плечами, словно упоминание Ле Салана погасило всякий интерес. Пред моим мысленным взором предстали Жан Большой у себя в шлюпочной мастерской и я сама, наблюдающая за ним. Я вспомнила о мастерстве отца, и меня кольнула виноватая гордость. Я упорно пялилась на затылок таксиста, пока это чувство не исчезло.

– Ясно. Ле Салан, значит.

В салоне пахло затхлостью, и подвеска была совсем убитая. Мы ехали из Ла Уссиньера по знакомой дороге, и в желудке у меня трепетало. Теперь я все помнила уже слишком хорошо, слишком отчетливо: рощица тамарисков, скала, мелькнувшая на мгновение крыша из гофрированного железа над краем дюны словно до боли ободрали сердце воспоминаниями.

– Так вы, значит, знаете, куда вам надо, а?

Дорога была плохая, и за поворотом колеса такси на мгновение застряли в песчаном наносе; шофер выругался и злобно взревел мотором, чтобы освободить машину.

– Да. На Океанскую, в дальний конец.

– Точно? Там же нет ничего, только дюны.

– Точно.

Какое-то чутье подсказало мне, что лучше выйти, немного не доезжая до деревни; я хотела прибыть пешком. Таксист взял деньги и уехал, рассыпая песок веером от колес и стреляя глушителем. Пока вокруг опять воцарялась тишина, я насторожилась от охватившего меня непонятного чувства, и совесть опять кольнула, когда до меня дошло, что это радость.

* * *

Я обещала матери никогда сюда не возвращаться.

Оттого и чувство вины. На мгновение я ощутила себя карлицей в его великанской тени, пылинкой под огромным небом. Мой приезд уже означал, что я предала мать, наши с ней счастливые годы вдвоем, жизнь, которую мы построили вдали от Колдуна.

После нашего отъезда нам никто не писал. Стоило нам покинуть пределы Ла Жете, как мы стали обломками кораблекрушения, не стоящими внимания, забытыми. Мать доста-

точно часто напоминала мне об этом холодными ночами в парижской квартирке, куда проникали непривычные шумы уличного движения и вывеска пивной бросала мерцающие отсветы, то синие, то красные, сквозь сломанные жалюзи. Мы ничего не были должны Колдуну. Адриенна выполнила свой долг: удачно вышла замуж, нарожала детей, переехала в Танжер с мужем-антикваром по имени Марэн. У Адриенны было два сына, которых мы видели только на фотографиях. Она редко писала нам. По мнению мамы, это доказывало преданность Адриенны мужу и детям. Мать ставила ее мне в пример. Моя сестра – достойная женщина, я должна ею гордиться.

Но я была упряма; я, хоть и сбежала, не смогла в полной мере воспользоваться ослепительными возможностями, которыми изобиловал мир за пределами островов. Я могла заполучить все что угодно – хорошую работу, богатого мужа, уверенность в завтрашнем дне. Вместо этого я два года проучилась в художественном училище; еще два года бесцельно путешествовала; потом работала в баре уборщицей; перебывала на временных работах; продавала свои картины на перекрестках, чтобы не платить комиссионные галереям. И тайне носила в себе Колдун.

– Все возвращается.

Девиз береговых обитателей. Я произнесла его вслух, словно в ответ на невысказанное обвинение. В конце концов, я же не собираюсь тут оставаться. Я заплатила квартирной

хозяйке за месяц вперед; мои немногочисленные пожитки лежат, как я их оставила, и ждут меня. Но сейчас мечта была слишком заманчива – Ле Салан, не изменившийся, гостеприимный, и отец...

Я неуклюже побежала через разбитую дорогу к домам, домой.

Деревня была безлюдна. Окна по большей части закрыты ставнями – от жары, – и дома выглядели словно сколоченные наспех, брошенные, как пляжные беседки после закрытия сезона. Некоторые, похоже, не красили с тех пор, как я уехала: стены, что когда-то заново белили каждую весну, песок выскоблил до полной потери цвета. Единственная герань поднимала голову из оконного ящика с высохшей землей. Иные дома – всего лишь деревянные хижины с крышами из гофрированного железа. Теперь я их вспомнила, хотя они не появились ни на одной моей картине.

Несколько *platts*, плоскодонок, вытащенных волоком вверх по *ètier* – соленому ручейку, что шел в деревню от Ла Гулю, – лежали на буром отливном иле. На воде стояла пара пришвартованных рыбацких лодок. Я их сразу узнала: «Элеонора» семьи Геноле, построенная моим отцом и его братом за много лет до моего рождения, и «Сесилия», собственность Бастонне, конкурентов Геноле по рыбной ловле. Высоко на мачте одной из лодок что-то монотонно звякало на ветру: тин-тин-тин.

На улице, можно сказать, не было ни души. За одной из ставень мелькнуло лицо; хлопнула дверь, перекрывая доносящиеся голоса. Под зонтиком у входа в бар Анжело сидел старик и пил колдуновку – островной ликер на травах. Я сра-

зу его узнала – это был Матиа Геноле, пронзительные голубые глаза светились на обветренном лице, – но когда я поздоровалась, в них не возникло любопытства. Только искорка узнавания, краткий кивок, что в Ле Салане сходит за учтивость.

Мне в туфли набился песок. У стен домов тоже кое-где скопились наносы песка, словно дюны наступали на деревню. Конечно, и летние шторма внесли свою лепту: у старого дома Жана Гроссея обрушилась стена, на крышах местами недоставало черепиц, а за Океанской улицей, там, где ферма и лавочка Оме Просажа и его жены Шарлотты, землю, кажется, затопило – широкие глади стоячей воды отражали небо. Ряд труб изрыгал воду в придорожную канаву, откуда она стекала обратно в ручеек. Я заметила у стены дома что-то вроде насоса – видимо, чтобы качать воду быстрее – и услышала шум генератора. За фермой деловито вращались лопасти небольшого ветряка.

Я остановилась в конце главной улицы, у колодца при святылище Марины Морской. Тут был ручной насос, ржавый, но действующий, и я накачала себе воды – умыться. Почти забытым ритуальным жестом я плеснула воды в каменную чашу у стены и при этом заметила, что маленькая ниша, в которой стоит святая, свежевыкрашена, а на камнях разложены свечи, ленты, бусы и цветы. Сама святая, весомая, непроницаемая, стояла среди приношений.

– Говорят, если приложиться к ногам и три раза сплюнуть,

потерянное к тебе вернется.

Я так резко повернулась, что чуть не упала. Позади меня, уперев руки в боки и чуть склонив голову набок, стояла большая розовая жизнерадостная женщина. С мочек ушей свисали позолоченные обручи; волосы были того же жизнеутверждающего оттенка.

– Капуцина!

Она немного постарела (когда я уезжала, ей было под сорок), но я ее узнала мгновенно; ее прозвище было Блоха, и жила она в ободранном розовом вагончике на границе дюн, с кучей шумных ребятишек. Она никогда не была замужем: «Миленькая, с мужчиной жить – одна морока», – но я помню, как поздно ночью с дюн доносилась музыка и смущенные мужчины слишком старательно притворялись, что не замечают вагончик с кружевными занавесками и призывным огоньком над дверью. Моя мать не любила Капуцину, но та всегда относилась ко мне хорошо, угощала вишнями в шоколаде и пересказывала всяческие сплетни. Она смеялась фривольней всех остальных островитян – по правде сказать, кроме нее, вообще никто из взрослых на острове не смеялся вслух.

– Мой Лоло сказал, что видел тебя в Ла Уссиньере. Сказал, что ты едешь сюда! – Она расплылась в улыбке. – Надо мне усерднее прикладываться к святой, чтоб такое почаще случалось!

– Я так рада тебя видеть, Капуцина. – Я улыбнулась. – Я

уж подумала, что тут никого не осталось.

Она пожала плечами.

– Говорят, удача переменчива. – Она ненадолго помрачнела. – Очень жалко, что твоя мама померла.

– Откуда ты знаешь?

– Э! Это ж остров. Мы тут только и живем новостями да сплетнями.

Я помедлила, чувствуя, как бьется сердце.

– А... а что мой отец?

Ее улыбка на мгновение погасла.

– Как обычно, – небрежно сказала она. – В это время года всегда нелегко.

Она обрела свою прежнюю жизнерадостность и обняла меня за плечи.

– Пойдем выпьем колдуновки. Можешь остановиться у меня. Как англичанин съехал, у меня койка освободилась...

Я, видно, заметно удивилась, потому что Капуцина засмеялась своим обычным сочным, фривольным смехом.

– Только не подумай чего. Я теперь приличная женщина... почти. – В темных глазах сверкало веселье. – Но Рыжий тебе понравится. Он приехал в мае и всех перебудоражил! Мы ничего подобного не видали с тех пор, как Аристид Бастонне поймал рыбу с двумя головами – с обоих концов тушки. Ох уж этот англичанин! – она тихо хихикнула, качая головой.

– В мае этого года?

Значит, он только три месяца здесь. И за три месяца заработал прозвище.

– Э, – Капуцина закурила «житан» и с наслаждением затянулась. – Он появился сюда в один прекрасный день без гроша в кармане, но сразу начал проворачивать какие-то дела. Сначала уболтал Оме и Шарлотту и работал у них до тех пор, пока ихняя девчонка не начала строить ему глазки. Я поселила его к себе в вагончик, пока он не обустроился отдельно. Он, похоже, повздорил со старым Бриманом и еще кое с кем там, в Ла Уссиньере.

Она бросила на меня любопытный взгляд.

– Твоя сестра ведь замужем за Марэном Бриманом? Ну и как они там?

– Они живут в Танжере. Пишут редко.

– В Танжере, значит? Ну что ж, она всегда говорила...

– Да, так что этот твой приятель? – перебила я. – Чем он занимается?

– У него всякие идеи. Он чинит всякие штуки. – Капуцина неопределенно махнула рукой через плечо, на Океанскую. – Вон ветряк Оме. Он его починил.

Мы обогнули дюну, и стал виден розовый вагончик – такой, каким он мне помнился, но чуть более облезлый и глубже ушедший в песок. Я знала, что за вагончиком – отцовский дом, хотя роща тамарисков скрывала его из виду. Капуцина заметила, куда я смотрю.

– Даже не думай, – твердо сказала она, беря меня под руку

и ведя в ложбинку к вагончику. – Нам надо столько сплетен навестать. Дай отцу немного времени. Пускай сначала от кого-нибудь услышит, что ты приехала.

На Колдуне сплетни – нечто вроде разменной монеты. Это двигатель местной жизни: свары между конкурентами-рыбаками, незаконные дети, невероятные истории, слухи и откровения. Я могла понять, какую ценность имею в глазах Капуцины; сейчас я для нее просто находка.

– Почему? – Я все еще смотрела на рощу тамарисков. – Почему я не могу прямо сейчас пойти с ним повидаться?

– Много воды утекло, а? – ответила Капуцина. – Он привык быть один.

Она толкнула дверь вагончика, которая оказалась не заперта.

– Заходи, милая, я тебе все расскажу.

В вагончике было странно уютно – тесно, мебель выкрашена розовым, все свободные поверхности завешаны одеждой, пахнет дымом и дешевыми духами. Несмотря на явный бордельный душок, это место располагало к доверию.

Люди, кажется, доверяли Капуцине свои секреты охотнее, чем отцу Альбану, единственному на острове священнику. Видно, будуар, даже такой потрепанный, приятней исповедальни. С возрастом Капуцина не стала образцом добродетели, но в деревне ее уважали. Ей, как и монахиням, было известно слишком много чужих тайн.

Мы беседовали за кофе со сладким. Капуцина безостановочно

вочно поглощала маленькие сахарные пирожные, так называемые колдунки, перемежая их «житанами», кофе и вишнями в шоколаде из большой коробки в форме сердца.

– Я навещаю к Жану Большому пару раз в неделю, – рассказывала она, подливая кофе в крохотные, словно из кукольного сервиза, кофейные чашечки. – Когда пирог с собой прихвачу, когда заброшу белье в стиральную машину.

Она ждала, как я отреагирую, и заметно обрадовалась, когда я ее поблагодарила.

– Но с ним все в порядке, нет? То есть, я хочу сказать, он бы и один справился?

– Ты же знаешь, какой он. Никогда не скажет, если что.

– Да, он всегда такой был.

– Верно. Кто его знает, те это понимают. Вот с чужаками он совсем не умеет. Ты, правда, не... – Она тут же поправилась: – Он просто не любит перемен, вот и все. У него свои привычки. Ходит к Анжело по пятницам, вечером, распить рюмочку колдуновки с Оме, регулярно, как часы. Он, конечно, говорит мало, но с головой у него все в порядке.

На острове люди по-настоящему боятся безумия. В некоторых семьях оно передается по наследству, шальной ген, подобно тому, как в закрытых общинах, где женятся между собой, чаще встречаются шестипалость и гемофилия. По усинскому присловью, слишком много двоюродных милуется. Моя мать всегда говорила, что Жан Большой потому и выбрал девушку с материка.

Капуцина покачала головой.

– У него свои привычки, вот и все. К тому же в это время года всем нелегко. Дай ему немножко отдышаться.

Ах да. Праздник нашей святой. Когда я была ребенком, мы с отцом часто помогали красить заново ее нишу – в коралловый цвет с традиционным звездчатым рисунком – к ежегодному празднику. Саланцы суеверны. Да и как иначе; пускай уссинцы подсмеиваются над нашими поверьями и традициями. Но Ла Уссиньер прикрыт Ла Жете как щитом. Ла Уссиньер не находится в полной воле приливов. В Ле Салане море ближе к дому – приходится принимать меры, чтобы его умиловить.

– Конечно, – сказала Капуцина, прерывая цепочку моих мыслей, – Жан Большой потерял в море куда больше многих. Да еще в день святой, так сказать, годовщина... Ну что ж, Мадо, тебе придется сделать ему скидку.

Я кивнула. Я знала эту историю – история была старая, случилась она в те годы, когда мои родители еще не поженились. Жили-были два брата, близкие друг другу, словно близнецы; даже имя одно на двоих, на островной манер. Но Жан Маленький утонул в возрасте двадцати трех лет – бесмысленно, утопился из-за какой-то девушки. По-видимому, родне удалось убедить отца Альбана, что это был несчастный случай на рыбной ловле. Время и частый пересказ смягчили эту душераздирающую историю; теперь мне трудно было поверить, что по прошествии тридцати лет мой отец все еще

винит себя. Но я видела надгробие – цельный кусок островного гранита – за Ла Гулю, на кладбище Ла Буш, где хоронят саланцев.

Жан-Марэн Прато

1949–1972

Любимый брат

Мой отец сам высек надпись – буквы в палец глубиной врезаны в толщу камня. На это ушло полгода.

– В общем, так, Мадо, – сказала Капуцина, откусывая от очередного пирожного. – Ты живешь у меня, по крайней мере до праздника святой Марины. Тебе ведь не прямо сейчас ехать обратно? Можешь подождать день-два?

Я кивнула.

– Здесь просторней, чем кажется, – оптимистично сказала Блоха, показывая на занавеску, отделяющую жилое пространство от спального. Тебе там будет удобно, а мой Лоло – хороший мальчик, он не станет каждые пять минут совать нос за занавеску.

Капуцина взяла еще одну вишню в шоколаде из своих бесконечных запасов.

– Он уже скоро вернется. Не знаю, что он там делает целыми днями. Должно быть, бьет баклуши с этим мальчишкой Геноле.

Я поняла, что Лоло приходится Капуцине внуком; ее дочь Клотильда оставила его на попечение матери, а сама отправилась искать работу на материке.

– Говорят, что все возвращается. Э! Моя Кло, кажется, не очень торопится назад. Ей там слишком весело живется. – Взгляд Капуцины чуть помрачнел. – Нет, ради нее нет смысла целовать ноги святой. Она все время обещает приехать на праздники, но каждый раз у нее находится какая-нибудь отговорка. Может, лет через десять...

Она взглянула на меня и осеклась.

– Мадо, извини. Я не про тебя...

– Ничего. – Я допила кофе и встала. – Спасибо за предложение.

– Ты хочешь сейчас туда идти? Сегодня? – Капуцина, хмурясь, поглядела на меня секунду, руки в боки, розовая шаль наполовину сползла с плеч.

– Ну что ж, – наконец произнесла она. – Только многого не жди.

Моя мать была с Большой земли. Так что я только наполовину островитянка. Романтичная девушка из Нанта, она разлюбила Колдун так же быстро, как и суровую красоту моего отца. Она не годилась для жизни в Ле Салане. Она была говорунья, певунья, рыдала, раздражалась тирадами, хохотала – вся нараспашку. Отец же и поначалу был неразговорчив. Не умел поддерживать беседу. Говорил по большей части односложно; здоровался кивком. Нежные чувства, что он выказывал, были направлены по преимуществу на рыбацкие лодки, которые он строил на дворе за домом и там же продавал. Летом он работал на улице, на зиму перебирался в большой сарай, и я любила сидеть рядом, смотреть, как он гнет дерево, вымачивает доски для обшивки, чтобы придать им гибкость, выводит грациозные линии киля и носа, шьет паруса. Паруса были белые либо красные, по цветам острова. Нос лодки всегда украшали коралловой бусиной. Каждую лодку полировали, покрывали лаком, никогда не красили – только имя на носу черно-белыми буквами. Отец жаловал имена романтических героинь – «Прекрасная Изольда»¹³, «Мудрая Элоиза»¹⁴, «Бланш де Коэткен»¹⁵, имена из старых книг, хо-

¹³ *Прекрасная Изольда* – героиня средневековой французской легенды о любви Изольды и Тристана.

¹⁴ *Мудрая Элоиза* – историческое лицо (1100–1163), ученица французского

тя, насколько мне известно, сам он ничего не читал. Разговоры ему заменяла работа – в обществе своих «дам» он проводил бо́льшую часть времени, но ни одной лодки не назвал в честь кого-нибудь из нас, даже в честь матери, хотя она, я знаю, была бы рада.

Я обогнула дюну и увидела, что шлюпочная мастерская пуста. Двери сарая были закрыты, и, судя по высоте иссохшей травы, которой они заросли, их не открывали уже несколько месяцев. Два лодочных корпуса, брошенных у ворот, наполовину занесло песком. Под навесом из гофрированного пластика стоял тягач с прицепом – с виду вроде бы в рабочем состоянии, но подъемник, которым отец обычно грузил лодки на прицеп, заржавел, как будто им давно не пользовались.

В доме было не лучше. Он и раньше не блистал порядком, заваленный остатками грандиозных проектов, которые отец начинал и не заканчивал. Сейчас дом выглядел полностью заброшенным. Побелка стерлась; разбитое окно заколочено доской; краска на дверях и ставнях потрескалась и облупилась. От дома по песку тянулся провод к пристройке, где гудел генератор: единственный признак жизни.

философа Пьера Абеляра (1079–1142). История любви Абеляра и Элоизы вошла в легенду.

¹⁵ *Бланш де Коэткен* – героиня средневековой французской легенды. Де Коэткены – бретонский графский род. Легенда гласит, что девери Бланш – Флоран и Галь де Коэткен – были недовольны женитьбой своего брата, Танги де Коэткена, и заточили Бланш в темницу, чтобы она там умерла.

Почтовый ящик был забит. Я вытащила утрамбованный пласт писем и брошюр и понесла в пустую кухню. Дверь была не заперта. У раковины – гора грязной посуды. На плите остывший кофейник. Запах как в комнате больного. Вещи матери – комод, сундук, квадратный гобелен – никуда не делись, но все покрылось пылью, а бетонный пол – песком.

И все же видно было, что о доме кто-то заботится. В углу комнаты стоял ящик для инструментов с кусками трубок, проволоки и дерева, и я заметила, что водогрейную колонку, которую Жан Большой все собирался починить, заменили каким-то устройством – пузатый медный бак, соединенный с баллоном бутана. Болтающиеся провода аккуратно спрятаны за панель; кто-то починил камин и трубу, которая раньше вечно дымила. Эти следы человеческой деятельности резко выделялись на фоне запущенного дома, словно Жан Большой настолько погрузился в работу, что уже не успевал вытирать пыль и стирать белье.

Я бросила почту на кухонный стол. Я поняла, что дрожу, и рассердилась. Я просмотрела почту – накопившуюся, похоже, за полгода или год – и обнаружила свое последнее письмо к отцу, невскрытое. Я долго смотрела на конверт с парижским адресом на обороте и вспоминала. Я носила его с собой несколько недель, прежде чем наконец опустила письмо в ящик, испытывая странную растерянность и в то же время ощущение свободы. Люк, мой приятель из кафе, спросил меня, чего я жду: «В чем проблема? Ты ведь хочешь его ви-

деть, нет? Хочешь ему помочь?»

Все было не так просто. За десять лет Жан Большой не написал мне ни разу. Я посылала ему рисунки, фотографии, школьные табели, письма – ответа не было. Но я все писала, год за годом. Разумеется, матери я не говорила. Я точно знаю, что она об этом сказала бы.

Я опустила чуть дрожащую руку с письмом. Потом сунула его в карман. Может, в конце концов, так оно и лучше. Так у меня еще есть время подумать. Рассмотреть все варианты.

Как я и думала, дома никого не было. Я заглянула сначала в свою комнату, потом в комнату Адриенны, стараясь не чувствовать себя непрошеной гостьей. Почти все было на своих местах. Наши вещи никуда не делись: мои модели лодок, сестрины плакаты с киноактерами. Дальше была комната родителей.

Я толкнула дверь и оказалась в полутьме: ставни были закрыты. Пахло духом нежилья. Кровать была не застелена, из-под сбитой простыни виднелся полосатый тик матраса. У кровати переполненная пепельница, на полу кучей грязная одежда. Гипсовая статуэтка святой Марины в нише у двери; картонная коробка со всякой всячиной. Я заметила в коробке фотографию – и сразу узнала, хотя она теперь была без рамки. Фотографировала мать в день, когда мне исполнилось семь лет, и на фотографии мы трое – Жан Большой, Адриенна и я – широко улыбались, глядя на большой торт в форме рыбы.

Кто-то вырезал мое лицо из фотографии – неуклюже, ножницами, – так что остались только Жан Большой и Адриенна: она слегла опиралась рукой ему на плечо. Отец улыбался ей через дыру, где раньше была я.

Внезапно снаружи донесся звук. Я быстро смяла фотографию, сунула в карман и застыла, прислушиваясь, горло у меня сжалось. Кто-то тихо прошел под окном спальни, так бесшумно, что грохот моего сердца почти заглушил шаги: человек был босиком либо в эспадрильях.

Не теряя времени, я ринулась в кухню. Нервно поправила волосы, гадая, что он скажет... что я скажу... узнает ли он меня вообще. Десять лет меня изменили: исчезла детская пухлость; короткие волосы отросли до плеч. Я не такая красивая, как мать, хотя кое-кто говорит, что я на нее похожа. Я слишком высокая, двигаюсь не так грациозно, как она, и волосы тусклые, средне-русые. Но глаза под нависшими бровями у меня материнские – странного, холодного серо-зеленого цвета, который иные считают уродливым. Я вдруг пожалела, что не постаралась как-то прихорошиться. Могла бы хоть платье надеть.

Дверь открылась. На пороге стоял человек в тяжелой рыбацкой куртке, в руке – бумажный пакет. Я его сразу узнала, хотя волосы закрывала вязаная шапочка; быстрые, точные движения совершенно не походили на медвежью косолапость отца. Я и опомниться не успела, а он уже прошел мимо меня в дом и закрыл за собой дверь.

Англичанин. Рыжий. Флинн.

– Я кое-что принес, думаю, вам пригодится, – сказал он, бросив пакет на кухонный стол. Потом увидел выражение моего лица: – Что-нибудь случилось?

– Я не вас ждала, – наконец выдавила я из себя. – Вы меня застали врасплох.

Сердце у меня все еще колотилось. Я вцепилась в фотографию в кармане, меня бросало то в жар, то в холод, и я не знала, что он может прочесть у меня на лице.

– Волнуетесь, да? – Флинн открыл пакет, лежащий на столе, и начал вынимать содержимое. – Тут хлеб, молоко, сыр, яйца, кофе, все для завтрака. Вы мне ничего не должны, это все взято на его счет.

Он положил хлеб в полотняный мешочек, висящий с внутренней стороны двери.

– Спасибо. – Я не могла не заметить, что он чувствовал себя в доме моего отца как в своем собственном, уверенно открывал шкафы, раскладывая продукты по местам. – Надеюсь, это вас не очень беспокоило.

– Нисколько. – Он ухмыльнулся. – Я живу в двух минутах отсюда, в старом блокгаузе. Иногда захожу в гости.

Блокгауз стоял на дюнах над Ла Гулю. Официально он, как и полоска земли, на которой он стоял, принадлежал моему отцу. Я помнила этот блокгауз – немецкий бункер, оставшийся с войны, безобразный куб ржавого бетона, полузанесенный песком. Многие годы я верила, что в нем водятся

привидения.

– Никогда бы не подумала, что там можно жить, – сказала я.

– Я его обустроил, – бодро отозвался Флинн, убирая молоко в холодильник. – Труднее всего было избавиться от песка. Конечно, там еще не все готово: надо выкопать колодец и сделать нормальный водопровод, но все же это прочное, удобное жилье, и я на него не трачу ни гроша – только время, ну и кое-какие мелочи приходится покупать – то, что я не могу найти или сделать сам.

Я подумала о Жане Большом, с его вечными незаконченными проектами. Неудивительно, что этот человек ему понравился. Капуцина говорила, он что-то строит. Теперь я поняла, кто все чинит в отцовском доме. У меня внезапно ёкнуло сердце.

– Знаете, вам, наверное, не удастся с ним повидаться сегодня, – сказал Флинн. – В последние дни ему не по себе. Его почти никто не видел.

– Спасибо. – Я отвернулась, чтобы спрятаться от его взгляда. – Я знаю своего отца.

Это правда; в ночь святой Марины, после шествия, Жан Большой всегда исчезает в направлении Ла Буша и там жжет свечи на могиле Жана Маленького. Этот ежегодный ритуал неприкосновенен. Ничто не может ему помешать.

– Он даже не знает еще, что вы вернулись, – продолжал Флинн. – Когда узнает, должно быть, решит, что святая услы-

шала все его молитвы сразу.

– Спасибо вам за такие слова, – хладнокровно ответила я. – Но Жан Большой никогда не прикладывался к святой. Ни за кого.

Праздник нашей святой, Марины Морской, справляется раз в году, в августовское полнолуние. Этой ночью святую переносят из деревенского святилища в развалины ее храма на мысе Грино. Работа нелегкая – в святой три фута высоты, она тяжела, поскольку сделана из сплошного куска базальта, так что нужны четверо мужчин, чтобы перенести ее на цоколе к самой воде. Потом все деревенские проходят перед ней вереницей, один за другим; кто-то наклоняется, чтобы древним ритуальным жестом приложиться к голове святой, надеясь вымолить возвращение чего-нибудь (точнее кого-нибудь) потерянного. Дети украшают святую цветами. Люди бросают скромные дары – еду, цветы, перевязанные ленточкой пакетики каменной соли, даже деньги – в приливные волны. В жаровнях по обе стороны святой горят кедровые и сосновые щепки. Иногда бывают фейерверки – разрываются над равнодушным морем, словно с вызовом.

Я дождалась темноты и вышла из дома. Ветер, который сильнее всего в этой части острова, повернул на юг и выбивал свою «пляску смерти» на окнах и дверях. Я двинулась в путь, плотно запахнув куртку, и сразу увидела отсветы жаровен на дальнем конце мыса. Там когда-то был храм, но в последние сто лет он стоял разрушенный и не использовался. За это время его постепенно присвоило море, так

что ныне от храма остался единственный кусок – часть северной стены. Ниша, которую занимала когда-то святая Марина, еще виднеется в выветренных камнях. В башенке над нишей когда-то висел колокол – Маринетта, собственный колокол святой Марины, – но его давно уже нет. Легенда гласит, что он упал в море; другая повествует, как Маринетту украл и переплавил жадный уссинец, а святая прокляла его, и призрачный звон его свел с ума. По временам колокол еще звонит – всегда в бурную ночь, всегда предвещая какое-нибудь несчастье. Скептики считают, что звуки, напоминающие колокольный звон, производит южный ветер, продувающий скалы и расщелины мыса Грино. Но саланцам лучше знать – это Маринетта все вызванивает свои предостережения, все приглядывает за саланцами из глубин.

Подходя к мысу, я видела силуэты на освещенной огнями стене старого храма. Много, не меньше тридцати, больше половины деревни. Отец Альбан, островной священник, стоял у воды, в руках чаша и посох. В отсветах жаровен священник показался мне седым и осунувшимся; когда я прошла мимо, он коротко поздоровался, нисколько не удивленный. От него слабо пахло рыбой; сутана аккуратно заправлена в рыбацкие сапоги.

Традиционное шествие – странно волнующее зрелище, хоть саланцы и не подозревают, что живописны. Они иной крови, чем мы с матерью – по большей части невысокие, плотные, с мелкими чертами лица, кельты; черноволосые и

голубоглазые. Однако эта потрясающая красота быстро вянет, и к старости они превращаются в горгулий – одеваются в черное по примеру предков, а женщины еще носят белый *quichenotte*. Какой момент ни возьми, три четверти населения деревни, кажется, старше шестидесяти пяти лет.

Я быстро обшарила взглядом лица, все еще надеясь. Старухи в вечном трауре, длинноволосые старики в рыбацких гамашах и черных матерчатых куртках или в рыбацких блузах и сапогах, пара молодых людей, скрасивших костюм рыбака рубашкой кричащего цвета. Отца среди них не было.

Праздничного оживления, памятного мне с детства, в этом году не наблюдалось; цветов вокруг святилища было меньше, а обычных приношений и вовсе почти не видно. Я подумала, что деревенские мрачны, словно жители осажденного города. Хотя, быть может, дело лишь в том, что ребенок видит этот праздник по-иному, чем взрослый человек, каким я стала.

И вот наконец на дюнах за мысом Грино показался свет фонарей и донесся вой *binjou*; шествие святой Марины началось. Если играть на *binjou* умеючи, звук его немного похожит на волынку. Но в этих звуках было что-то кошачье, пронзительный вой, перебивавший даже гул ветра.

Я видела каменную плиту, на которую водрузили статую; четверо мужчин, по одному с каждого угла, несли ее, напрягая силы, по неровной земле. По мере того как шествие приближалось, становились видны детали: горка красных и

белых цветов под праздничными юбками святой, бумажные фонарики, свежая позолота на старом камне. Среди саланцев были и дети – лица, розовые от ветра, голоса, пронзительные от усталости и возбуждения. Я узнала круглолицего Лоло, внука Капуцины, и его приятеля Дамьена – они легко бежали по песку, неся бумажные фонарики: один зеленый, один красный.

Процессия обогнула последнюю дюну. Тут ветер вздул пламя в одном фонарике, и бумага вспыхнула; при свете пламени я узнала отца.

Он был среди тех, кто нес святую, и несколько мгновений я могла разглядывать его, не боясь, что он меня заметит. Свет огня был добр к отцу; в отсветах казалось, что он совсем не изменился, к тому же они придавали его лицу несвойственную ему живость. Отец был плотнее, чем я его помнила: отяжелел с годами; большие руки напрягались, удерживая плиту горизонтально. Лицо ужасно сосредоточенное. Все остальные мужчины, несшие святую, были моложе; я узнала Алена Геноле и его сына Гилена, оба рыбаки, привычные к тяжелой работе. Процессия остановилась перед стоящей в ожидании группой жителей деревни, и я с удивлением поняла, что четвертый человек, несущий святую, – Флинн.

– Святая Марина.

Передо мной из толпы вышла женщина и на миг прижалась губами к ногам статуи.

Я ее узнала: Шарлотта Просаж, хозяйка бакалейной лавки, пухленькая, похожая на птичку, с вечно беспокойным видом. Остальные деликатно стояли поодаль; кое-кто держал амулеты и фотографии.

– Святая Марина. Помоги нам с землей. Зимние приливы вечно затапливают поля. В прошлый раз у меня три месяца ушло, чтоб их очистить. Ты наша святая. Помоги нам.

Она говорила униженно и в то же время слегка презрительно – непонятно, как ей это удавалось. Взгляд ее тревожно бегал.

Как только Шарлотта закончила молиться, ее сменили другие. Ее муж, Оме, прозванный Картошкой за смешное, бесформенное лицо; Илэр, саланский ветеринар, лысый, в круглых очках. Рыбаки, вдовы, девочка-подросток с беспокойными глазами – все говорили одинаково – торопливо бормотали с оттенком обвинения в голосе. Я не могла протолкнуться ближе – это было бы нарушением этикета; лицо Жана Большого вновь скрылось за приливом качающихся вверх-вниз голов.

– Марина Морская, отведи море от моего порога. Пригони макрель ко мне в сети. И пускай этот браконьер Геноле не подходит к моим устричным отмелям.

– Святая Марина, пошли нам удачную ловлю. Пусть мой сын возвращается с моря целым и невредимым.

– Святая Марина, я хочу красное бикини и солнечные очки «Рэй-бан».

Отходя от святой, девушка бросила на меня мимолетный взгляд. Теперь я ее узнала: Мерседес, дочь Шарлотты и Оме, в пору моего отъезда ей было лет семь или восемь, а теперь она стала высокая, длинноногая, с распущенными волосами и красивым капризным ртом. Мы встретились глазами, я улыбнулась, но девушка наградила меня неприязненным взглядом и протолкнулась мимо меня в толпу. Кто-то занял ее место: старуха в платке, лицо умоляюще склонилось к портретной фотографии.

Процессия опять тронулась под гору, к морю, где святую опустят ногами в воду – для благословения. Когда я достигла дальнего края толпы, Жан Большой как раз отворачивался; я видела его профиль, покрытый бусинками пота, медальон блеснул на шее – и отец меня опять не заметил. Еще секунда, и стало слишком поздно: четверка носильщиков уже шла по каменистому склону к воде, напрягая силы, и отец Альбан рукой придерживал святую, чтобы она не опрокинулась. Мрачно завывали *biniou*; пламя охватило другой фонарик, потом третий, и черные бабочки запорхали по ветру.

Наконец они дошли до моря; отец Альбан отошел в сторону, и четверо внесли святую Марину в воду. У мыса нет песка, одни камни на дне, свет отражается от воды, и дно коварно. Прилив почти достиг высшей точки. Мне послышалось за воплями *biniou*, что первые порывы ветра загудели в расщелинах, голодный южный ветер завыл, и этот вой тут же усилился, почти звеня, словно колокол под водой...

– Маринетта!

Это закричала старуха в платке, Дезире Бастонне; глаза ее потемнели от страха. Худые нервные руки все еще теребили фотографию, с которой улыбалось мальчишеское лицо, отражая свет фонарей.

– Ничего подобного.

Аристид, муж Дезире, глава рыбацкой династии, носящей ту же фамилию; старик, за семьдесят, усищи патриарха, длинные седые волосы под плоской островной шляпой. Он потерял ногу за много лет до моего рождения – несчастный случай в море, тот же, что унес жизнь его старшего сына. Старик пронзил меня взглядом, когда я проходила мимо. Он тихо продолжил, обращаясь к жене:

– Чтоб я от тебя больше не слышал про злой рок. И убери эту штуку.

Дезире отвела взгляд и сплела пальцы на фотографии. За спиной у нее юноша лет девятнадцати-двадцати глянул на меня с робким любопытством из-за очочков в проволочной оправе. Он, кажется, собирался что-то сказать, но тут Аристид повернулся, и юноша поспешил к нему, бесшумно ступая босиком по камням.

Носильщики уже стояли в море по грудь, лицом к берегу, держа святую так, чтобы ее ноги были погружены в воду. Волны бились о плиту, смывая цветы. Ален и Гилен были впереди; Флинн с моим отцом – позади, они напрягались, пытаясь противостоять течению. Вода, должно быть, холод-

ная, несмотря на август; у меня лицо занемело от летящей водяной пыли, и я дрожала, потому что ветер насквозь продувал шерстяную куртку. А ведь я стояла на берегу.

Когда все деревенские разошлись по местам, отец Альбан поднял посох для финального благословения. В эту секунду Жан Большой поднял голову, чтобы посмотреть на священника, и встретился глазами со мной.

На какой-то миг нас с отцом, казалось, окутал кокон тишины. Отец смотрел на меня через просвет между ногами святой, слегка приоткрыв рот, меж бровями пролегла сосредоточенная морщинка. Медальон на шее горел алым пламенем.

У меня что-то встало в горле, какая-то преграда, она не давала дышать. Руки стали словно не мои, чужие.

Мне показалось, что Флинн, стоящий рядом с отцом, пошевелился. Потом их резко ударило сзади волной, и Жан Большой, все еще глядя на меня, пошатнулся в волне, потерял равновесие, вытянул руку, чтобы не упасть... и уронил святую Марину с каменной плиты в глубокие воды у мыса Грино.

Долю секунды она, казалось, чудом держалась на плаву в бурном море; шелковая юбка раздувалась вокруг алым колоколом. Потом святая исчезла.

Жан Большой растерянно стоял, глядя в никуда. Отец Альбан протянул руки, тщетно пытаясь поймать святую. Аристид издал удивленный смешок. Юноша в очках за спи-

ной Аристида сделал шаг к воде и остановился. Мой отец стоял еще секунду, и нелепо праздничный свет фонариков играл у него на лице, лишенном каких-либо иных признаков оживления. Потом он обратился в бегство – выбрался из моря, оскальзываясь на камнях, с усилием выпрямляясь снова, борясь с тяжестью намокшей одежды.

– Отец, – крикнула я, когда он поравнялся со мной, но он исчез, не оглянувшись.

Мне показалось, что, достигнув высшей точки мыса Грино, он издал какой-то звук – долгий прерывистый стон, – но, может, это был ветер.

По традиции после церемонии на вершине утеса все идут в бар к Анжело – выпить за святую. На этот раз пошло меньше половины участников; отец Альбан отправился прямо домой, в Ла Уссиньер, даже вино не благословил; дети – и большинство матерей – ушли спать, и собравшимся явно не доставало обычной жизнерадостности.

Конечно, главной причиной была потеря святой Марины. Теперь молитвы останутся не услышаны; прилив будет буйствовать безнаказанно. Горе моего отца не так было важно для деревенских, как их собственные суеверные страхи; мне стало неприятно, что о его бегстве так легко забыли. Оме Картошка предложил немедленно отправиться на поиски пропавшей святой, но прилив был слишком высок, неровное каменистое дно слишком опасно, и экспедицию отложили на утро.

Сама я сразу направилась в отцовский дом и принялась ожидать возвращения Жана Большого. Он не пришел. Наконец около полуночи я пошла обратно к Анжело и обнаружила там Капущину, поправляющую нервы при помощи кофе с колдунками.

При виде меня она встала, глядя сочувственно.

– Его нет, – сказала я, садясь рядом с ней. – Он не прихо-

дил домой.

– И не придет. Сейчас-то, – ответила Капуцина.

Люди глядели на меня; я уловила любопытство и еще холодность, от которой почувствовала себя неуклюжей и чужой. Капуцина закурила сигарету и, выдыхая дым через ноздри, заговорила деловито, хоть и сочувственно:

– Ты всегда была упрямая. Как попроще тебе не годится, да? Вечно кидаешься напролом. – Она устало улыбнулась. – Мадо, не дыши отцу в затылок. Дай ему шанс.

– Шанс? – Это подошел Аристид Бастонне, с Дезире под руку. – После сегодняшнего вечера, после того, что случилось на мысу, какой у нас может быть шанс?

Я подняла глаза. Старик стоял позади нас, тяжело опираясь на палку, глаза словно кремни. Рядом, чуть в стороне, юноша в очках, волосы упали на глаза, вид смущенный. Теперь я его узнала – Ксавье, внук Аристида; в давние времена он был одиночка, книги предпочитал играм. Мы с ним почти не разговаривали, хотя нас разделяло лишь несколько лет.

Аристид все еще сверлил меня взглядом.

– Ты зачем вернулась, а? – спросил он. – Тут больше ничего нет.

– Не отвечай, – сказала Капуцина. – Он пьян.

Аристид словно бы не услышал.

– Вы, молодые, все одинаковые! – сказал он. – Вы только тогда возвращаетесь, когда вам чего-нибудь надо!

– Дедушка, – запротестовал Ксавье, кладя руку старику на

плечо.

Но Аристид стряхнул ее. Хотя старик был на голову ниже, в гневе он словно стал великаном, глаза горели, как у пророка.

Его жена, стоявшая рядом, беспокойно посмотрела на меня.

– Не сердись, – тихо сказала она. – Святая Марина... наш сын...

– Закрой рот! – рявкнул Аристид и так стремительно повернулся, опираясь на палку, что мог бы упасть, если б не стоявшая рядом Дезире. – Думаешь, ей на это не плевать?

Он вышел не оборачиваясь, с усилием волоча деревянную ногу по бетонному полу, домочадцы потянулись за ним. Их проводили молчанием.

Капуцина пожала плечами.

– Не обращай на него внимания. Он просто перебрал колдуновки.

– Я не понимаю.

– Нечего тут и понимать, – сказал Матиа Геноле. – Это ж Бастонне. Каменный лоб.

Его слова меня не очень подбодрили; Геноле и Бастонне ненавидели друг друга на протяжении многих поколений.

– Бедный Аристид. Обязательно против него кто-нибудь строит козни. – Я повернулась и увидела, что на барную табуретку рядом со мной взгромоздилась маленькая старушка в черных вдовьих одеждах. Туанетта Просаж, мать Оме,

старейшая обитательница деревни. – Если верить Аристиду, кто-то вечно старается его куда-нибудь упрятать, прибрать к рукам его сбережения – э! – Она расхохоталась, словно ворона каркнула. – Все ведь знают, он столько потратил на свой дом, святая Марина! Даже если его сын теперь вернется, ему ничего не светит – только старая лодка да затопленный клочок земли, на который и Бриман не польстился!

Я ощупывала письмо, которое так и лежало в кармане.

– Бриман?

– Разумеется, – сказала Туанетта. – У кого еще есть деньги в этих местах, чтобы что-то делать?

Согласно Туанетте, у Бримана были планы на Ле Салан. Планы эти были столь же зловещи, сколь и неопределенны. Я узнала традиционную неприязнь саланцев к преуспевающему уссинцу.

– Ему ничего не стоит сделать в Ле Салане все, что надо, для него это тьфу! – сказала старуха, сопроводив слова выразительным жестом. – У него есть и деньги, и машины. Осушить болота, поставить волноломы на Ла Гулю – за полгода справился бы. И никаких больше паводков. Э! Конечно, все это не бесплатно, даже не думай. Он не благотворительностью себе капитал сколотил.

– Может, имеет смысл узнать, чего он хочет взамен?

Матиа Геноле кисло посмотрел на меня.

– Что? Продаться уссинцу?

– Не кидайся на девочку, – сказала Капуцина. – Она ста-

рается как лучше.

– Да, но если он может прекратить паводки...

Матиа решительно покачал головой.

– Морю не прикажешь, – сказал он. – Оно делает что хочет. Если святой угодно нас утопить, то так оно и будет.

Я узнала, что деревню постигла череда плохих лет. Несмотря на покровительство святой Марины, приливы с каждой зимой поднимались все выше. В этом году затопило даже Океанскую улицу, впервые после войны. Лето тоже выдалось беспокойным. Ручеек вздулся и залил всю деревню соленой водой на три фута – урон еще не везде успели исправить.

– Если и дальше так будет, мы кончим, как старая деревня, – сказал Матиа. – Там все утонуло, даже церковь.

Он набил трубку и утрамбовал табак грязным большим пальцем.

– Только подумать. Церковь. Если святая не поможет, то кто?

– Ну, то был Черный год, – заявила Туанетта Просаж. – Тысяча девятьсот восьмой. В тот год умерла от инфлюэнцы моя сестра Мари-Лора, а я родилась.

Она пронзила воздух кривым пальцем.

– Вот она я, дитя Черного года; никто не думал, что я выживу. А я выжила! Так что, если мы хотим пережить и этот год, нечего цапаться между собой, как бакланы.

Она строго посмотрела на Матиа.

– Легко сказать, Туанетта, но раз святая больше за нас не стоит...

– Я не про то говорю, Матиа Геноле, и ты это прекрасно знаешь.

Матиа пожал плечами:

– Не я первый начал. Если Аристид Бастонне хоть один раз признает, что был не прав...

Туанетта сердито повернулась ко мне.

– Видишь, что делается? Взрослые мужчины – старики – ведут себя как дети. Неудивительно, что святая гневается.

Матиа ошечинился.

– Не мои же внуки уронили святую...

Капуцина злобно уставилась на него. Он осекся.

– Извини, – сказал он, обращаясь ко мне. – Жан Большой не виноват. Если кто и виноват, то Аристид. Он не дал своему внуку нести святую, ведь тогда там были бы двое Геноле и только один Бастонне. Он сам, конечно, не мог помочь, с деревянной ногой-то.

Он вздохнул.

– Я же уже говорил. Будет Черный год. Вы же все слышали, как Маринетта звонила.

– Это не Маринетта была, – сказала Капуцина.

Она машинально сложила левой рукой рожки, чтобы отвести несчастье. Матиас сделал то же.

– Я тебе говорю, этого следовало ожидать, прошло тридцать лет...

Матиас опять сложил рожки.

– Семьдесят второй. Плохой был год.

Я знала, что плохой: в тот год погибло трое деревенских, в том числе брат отца.

Матиа отхлебнул колдуновки.

– Аристиду однажды показалось, что он нашел Маринетту. Ранней весной, в тот год, когда он потерял ногу. Оказалось, это старая мина, осталась с первой войны. Ирония судьбы, скажешь нет?

Я согласилась. Я слушала вежливо, как могла, хотя девочкой слышала эту старую байку много раз. Ничего не изменилось, говорила я себе с каким-то отчаянием. Даже байки тут такие же старые и потрепанные, как сами островитяне, заезженные, как бусины в четках. Жалость и нетерпение скопились у меня в груди, и я глубоко вздохнула. Матиа, ничего не замечая, продолжал рассказывать так, будто история произошла вчера.

– Эта штука лежала, наполовину зарытая в песчаном носе. Если ударить по ней камнем, она звенела. Тогда все дети сошлись с палками и камнями, колотили по ней, чтоб звенела. Несколько часов спустя прилив забрал ее обратно, и она взорвалась сама по себе примерно в ста метрах от того места, где сейчас Ла Жете. Оглушила всю рыбу оттуда до Ле Салана. Э! – Матиа смачно затянулся из трубки. – Дезире сварила ведро буйабеса, не могла вынести, что столько рыбы пропадает зря. Отравила полдеревни.

Он посмотрел на меня из-под покрасневших век.

– Я так и не решил, что это было – чудо или нет.

Туанетта согласно кивнула.

– Что бы это ни было, с тех пор наша удача сошла на нет.

Оливье, сын Аристиды, умер в тот год и... ну, ты знаешь... –

Она взглянула на меня.

– Жан Маленький.

Туанетта опять кивнула.

– Э! Эти братцы! Слыхала бы ты их в старые времена, – сказала она. – Как сороки, оба два. Болтали без умолку.

Матиа глотнул колдуновки.

– Черный год забрал у Жана Большого сердце, точно так же как забрал дома у Ла Гулю. В тот год приливы, может, были и больше нынешних, но ненамного.

Он мрачно вздохнул – с таким видом, словно ему было приятно пророчить беду, – и ткнул в мою сторону черенком трубки.

– Девочка, я тебя предупредил. Не обживайся здесь. Потому что еще один такой год...

Туанетта встала и поглядела в окно, на небо. За мысом нависал тускло-оранжевый горизонт, уже отрастивший ножки дальних молний.

– Плохие времена наступают, – заметила она без особого беспокойства в голосе. – Совсем как в семьдесят втором.

Я спала в своей старой комнате, и море шумело у меня в ушах. Когда я проснулась, было светло, а отец так и не появился. Я сварила кофе и выпила его очень медленно – я тянула время как могла. На душе у меня было несообразно тяжело. Чего я ждала? Что мне заколют упитанного тельца? На меня все еще давила мрачность вчерашнего праздника, а состояние дома только ухудшало дело. Я решила выйти наружу.

Небо было затянуто облаками, с Ла Гулю доносились крики чаек. Должно быть, уже пришло время отлива. Я надела куртку и пошла поглядеть.

Ла Гулю сначала чуешь, только потом видишь. При отливе пахнет всегда сильнее – водорослями, рыбой, чужаку этот запах может показаться неприятным, но мне он навевает сложные ностальгические ассоциации. Подходя со стороны острова, я видела заброшенные солончаки, блестящие в серебристом свете. Старый немецкий бункер, полузарытый в дюну, похож был на детский кубик, брошенный с неба. Из башни шел дым – видно, Флинн готовил завтрак.

Ла Гулю за прошедшие годы пострадал сильнее всего остального Ле Салана. Подбрюшье острова сильно размыло, и памятная мне с детства тропа ушла в море, оставив вместо

себя беспорядочный каменный оползень. Ряд древних пляжных веранд, памятных мне с детства, смыло; осталась лишь одна, словно длинноногое насекомое на камнях. Устье ручейка расширилось, хотя кто-то явно пытался его укрепить – кривая грубая стена из камней, скрепленных раствором, стояла с западной стороны, но западный берег ручья со временем сместился, и русло оказалось беззащитным перед приливами. Я начала понимать пессимизм Матиа Геноле: случись сильный прилив с ветром в ту же сторону, и вода пойдет вверх по ручью, перельется через дамбу на дорогу. Но главная перемена в Ла Гулю была гораздо красноречивей. Крепостные стены из водорослей, которые всегда были тут, даже летом, теперь исчезли, осталась полоса голых камней, не прикрытых и слоем грязи. Меня это удивило. Неужели ветра переменились? Как я уже говорила, все всегда возвращается на Ла Гулю. Но сегодня тут не было ничего: ни водорослей, ни обломков, ни даже куска пла́вника. Чайки словно тоже это понимали: гневно крича друг на друга, они кружили в воздухе, но не опускались поесть. В отдалении виднелись на фоне темной воды кружевные оборки пены вокруг кольца Ла Жете.

Отца на берегу, судя по всему, не было. Я сказала себе, что, может, он пошел на Ла Буш; кладбище было чуть поодаль от деревни, по направлению ручья. Я там бывала, хоть и не часто; на Колдуне забота о мертвецах – мужское дело.

Постепенно я поняла, что рядом кто-то есть. Может, по

движениям чаек: сам он совершенно точно не издавал никаких звуков. Я повернулась и увидела Флинна, который стоял в нескольких метрах позади меня и глядел в том же направлении, на море. В руках у него было два садка с омарами, а на плече – спортивная сумка. Садки были полные, и оба помечены красной буквой «Б» – Бастонне.

Браконьерство – единственное преступление, которое на Колдуне воспринимают всерьез. Украсть добычу из чужого садка – не лучше, чем переспать с чужой женой.

Флинн улыбнулся мне без тени раскаяния:

– Удивительно, чего только не приносит море, – бодро заметил он, показывая одним из садков на мыс. – Я думал прийти пораньше и проверить, пока не явится полдеревни искать святую.

– Святую?

Он покачал головой.

– Боюсь, у мыса ее нет. Должно быть, приливом откатило в сторону. Здесь такие сильные течения – вполне возможно, она уже на полпути к Ла Гулю.

Я ничего не сказала. Не знаю насчет святой, но вот чтобы смыть садок для омаров, одного течения недостаточно. Когда я была ребенком, мужчины Геноле и Бастонне, бывало, залегали в дюнах, поджидая друг друга, вооружившись дробовиками с зарядом каменной соли – каждая семья надеялась поймать другую на месте преступления.

– Везет вам, – сказала я.

– Ничего, справляюсь, – сверкнул глазами он.

Но еще мгновение – и он отвлекся, выкапывая пальцами босых ног жемчужинки дикого чеснока, растущие в песке. Набрал несколько штук, он наклонился и положил их в карман. Я на миг уловила острый запах чеснока на фоне соленого моря. Помню, я сама собирала этот чеснок для матери, когда она тушила рыбу.

– Здесь раньше была тропа, – сказала я, глядя на залив. – Я ходила по ней к солончакам. Теперь ее нет.

Флинн кивнул.

– Туанетта Просаж помнит, как здесь была целая улица домов, причал, пляжик, все дела. Все это давным-давно свалилось в море.

– Пляж?

Наверное, в этом что-то есть; когда-то от Ла Гулю до банок Ла Жете при отливе можно было пешком дойти, но за годы они переместились. Я поглядела на единственную пляжную беседку, теперь бесполезную, торчащую высоко над камнями.

– На острове нет ничего постоянного, – ухмыльнулся он.

Я опять глянула на садки. Он прижал омаров, чтобы они не подрались.

– «Элеонору» Геноле нынче ночью сорвало со швартовов, – продолжал Флинн. – Они думают на Бастонне. Но скорее всего, это ветер.

Наверняка Ален Геноле, его сын Гилен и его отец Матиа

встали с рассветом и ищут пропавшую «Элеонору». Крепкая плоскодонная рыбацкая лодка, она, может быть, ушла вместе с водой и теперь лежит, невредимая, где-нибудь на мелях, обнажающихся с отливом. Оптимистично, конечно, но попробовать стоит.

– А мой отец знает? – спросила я.

Флинн пожал плечами. По лицу видно было, что он уже считает «Элеонору» потерянной.

– Может, и не слышал. Он ведь не приходил ночевать?

Должно быть, я очень заметно удивилась, потому что он улыбнулся:

– У меня чуткий сон. Я слышал, как он прошел на Ла Буш.

Воцарилась пауза, во время которой Флинн теребил свои коралловые бусы.

– Вы ведь туда не ходили?

– Нет. Я не очень люблю там бывать. А что?

– Пойдемте, – он бросил садки и протянул мне руку. – Я обязательно должен вам кое-что показать.

Человека, впервые пришедшего на Ла Буш, кладбище всегда удивляет. Может, просто размерами: ряды, аллеи надгробий, на всех саланские фамилии, сотни, а может, и тысячи Бастонне, Геноле, Просажей и наших – Прато, все разлеглись на солнце, как усталые купальщики на пляже, забыв свои распри.

Второе, что бросается в глаза, – размер этих надгробий;

отполированные ветром, покрытые шрамами великаны из островного гранита, они стоят как обелиски, пришипленные собственным весом к островной земле. В отличие от живых саланцев, мертвые весьма общительны: они ходят друг к другу в гости, так как песок смещается, не ведая о семейной розни. Мы удерживаем своих покойников в рамках при помощи самых тяжелых камней, какие только удастся найти. Надгробие Жана Маленького – массивный кусок розово-серого островного гранита, полностью закрывающий могилу, словно родственники решили, что упрятали покойного недостаточно глубоко.

Всю дорогу до старого кладбища Флинн отказывался отвечать на мои вопросы. Я шла за ним неохотно, осторожно ступая по каменистой земле. Уже показались первые надгробия – они высились над краем прикрывавшей их дюны. Ла Буш всегда служил моему отцу убежищем. Даже сейчас я чувствовала себя виноватой, словно вторгалась в чужую тайну.

– Пойдем на вершину дюны, – сказал Флинн, поняв мою нерешительность. – Оттуда все видно.

Я долго стояла неподвижно на вершине дюны, глядя вниз на Ла Буш.

– И давно оно так? – спросила я наконец.

– После весенних штормов.

Кто-то пытался уберечь могилы. Вдоль дорожки, проходя-

щей ближе всего к ручью, были уложены мешки с песком, а отдельные надгробия окружены горками накопанной земли, но ущерб явно был слишком силен, и эти простые средства оказались бесполезны. Надгробные камни стояли как большие зубы, не прикрытые деснами, – иные все еще вертикально, иные опасно накренились над мелководьем, там, где разлился ручеек, затопив низкие берега. Там и сям над поверхностью воды торчали мертвые цветы в вазах; кроме них кругом метров на пятьдесят не было ничего, кроме камней и бледного гладкого отражения неба.

Я долго стояла молча и смотрела.

– Он сюда приходит каждый день, уже много недель, – пояснил Флинн. – Я ему объяснял, что это бесполезно. Он не верит.

Теперь я видела могилу Жана Маленького, недалеко от затопленной дорожки. Мой отец убрал ее красными цветами и коралловыми бусами в честь святой Марины. Эти скромные приношения на каменном островке выглядели странно жалкими.

Должно быть, отец принял происшедшее очень близко к сердцу. Он глубоко суеверен, и, пожалуй, даже звон Маринетты не был для него такой значащей вестью, как это.

Я шагнула к дорожке.

– Не стоит, – предостерег Флинн.

Я не обратила внимания. Отец стоял спиной и был так поглощен своим занятием, что не слышал меня, пока я не по-

дошла на расстояние протянутой руки. Флинн остался стоять, где стоял, не двигаясь, почти невидимый среди поросших травой дюн, если бы не приглушенное сияние волос цвета осенних листьев.

– Отец, – сказала я, и он повернулся ко мне.

Теперь, при дневном свете, я увидела, насколько постарел Жан Большой. Он показался мне меньше, чем накануне ночью, словно съезжился, и одежда была ему велика; большое лицо в седой старицовой щетине; глаза заплавлены кровью. Рукава заляпаны грязью, словно он что-то копал, и рыбацкие сапоги тоже по самые манжеты в грязи. С губы свисала прилипшая сигарета «голуаз».

Я шагнула вперед. Отец молча наблюдал за мной; синие глаза, окруженные вечными морщинками от солнца, сияли. Казалось, он никак не реагировал на мое присутствие; может, он смотрел на рыбацкую лодку, скользящую по воде, или в мыслях рассчитывал расстояние от лодки до причала, чтобы не попасть в волну.

– Отец, – повторила я, ощущая свою улыбку как странную жесткую личину. Я откинула назад волосы, чтобы показать ему лицо. – Это я.

Но Жан Большой ничем не выдал даже, что услышал. Глаза его блестели; но от радости или от гнева – я не могла понять. Он потянулся пальцами к горлу, к подвеске на шее. Нет, не просто подвеска. Медальон. В таких прячут драгоценные памятки.

– Я тебе писала... я думала... может, тебе нужно...

Голос тоже казался чужим. Жан Большой смотрел на меня без всякого выражения. Тишина, словно черные бабочки, окутала все кругом.

– Может, скажешь хоть что-нибудь?

Тишина. Взмах крыльев.

– Ну?

Тишина. У него за спиной на дюне стоит Флинн, наблюдает.

– Что? – не отставала я. Теперь бабочки порхали у меня в голосе, и он дрожал. Мне трудно было дышать. – Я вернулась. Может, ты все-таки хоть что-нибудь скажешь?

Мне на мгновение показалось, что в глазах у него что-то мелькнуло. Может, я это выдумала. Но как бы то ни было, один миг – и все исчезло. Потом, не успела я и опомниться, как отец повернулся и, не сказав ни слова, направился обратно к дюнам.

Этого следовало ожидать. В каком-то смысле я этого и ожидала, ведь он меня отверг уже много лет назад. Но все равно мне было горько: мама умерла, Адриенна уехала – уж наверное, я могла рассчитывать на какой-нибудь ответ.

Может, будь я мальчиком, все было бы по-другому. Жан Большой, как и большинство мужчин на острове, хотел сыновей: чтобы строили лодки вместе с ним, ухаживали за могилами предков. Дочери и все связанные с ними расходы Жану Прато были ни к чему. Первенец, оказавшийся дочерью, – это уже плохо; вторая дочь, четыре года спустя, окончательно убила отношения между родителями. Я росла, пытаясь искупить разочарование, вызванное моим появлением на свет: коротко стриглась, не водилась с другими девочками – все старалась заслужить его одобрение. Это работало до определенной степени: иногда он разрешал мне поехать с ним на ловлю морских окуней или брал с собой на устричные отмели, вооружившись корзинами и вилами. Эти минуты были для меня драгоценны; они случались урывками, когда мать и Адриенна уезжали в Ла Уссиньер; я хранила их, втайне перебирала, наслаждалась ими.

В такие моменты он говорил со мной, хотя с моей матерью в то время уже не разговаривал. Показывал мне чайчьи гнезда и песчаные отмели у Ла Жете, куда год за годом воз-

вращались тюлени. Порой мы находили разные штуки, выброшенные прибоем, и приносили домой. Очень редко он пересказывал мне островные предания и поговорки.

– Сочувствую. – Это был Флинн. Он, должно быть, подошел бесшумно, пока я стояла у могилы Жана Маленького.

Я кивнула. Горло болело, словно я только что кричала.

– Он, по правде сказать, вообще ни с кем не разговаривает, – сказал Флинн. – Объясняется знаками по большей части. Со мной он говорил, наверное, раз десять за все время, что я на острове.

На воде у самой дорожки плавал красный цветок. Я смотрела на него, и меня мутило.

– С вами, значит, он разговаривает, – сказала я.

– Иногда.

Я чувствовала, он стоит рядом, расстроенный, с утешением наготове, и на миг мне больше всего на свете захотелось это утешение принять. Я знала, что стоит повернуться к нему – он был как раз такого роста, чтобы положить голову ему на плечо, – он будет пахнуть озоном, и морем, и небеленой шерстью от свитера. А под свитером он теплый, я знала.

– Мадо, я тебе очень сочувствую...

Я смотрела прямо перед собой, мимо него, безо всякого выражения на лице, его жалость была ненавистна мне, а моя собственная слабость еще более ненавистна.

– Старый козел, – сказала я. – Он опять взялся за свое.

Я втянула воздух – долгими неровными толчками.

– Все как всегда.

Флинн с беспокойством смотрел на меня.

– Вам плохо?

– Я в порядке.

Он проводил меня до дома, подобрав по пути свою сумку и садки с омарами. Я почти все время молчала; он без конца болтал, я не разбираю слов, но была ему смутно благодарна. Время от времени я ощупывала письмо в кармане.

– Куда вы теперь? – спросил Флинн, когда мы вышли на тропу, ведущую в Ле Салан.

Я рассказала ему про свою парижскую квартиру. С фасада – ресторанчик. Кафе, куда мы, бывало, ходили летними вечерами. Липовая аллея.

– Звучит приятно. Может, я там поселюсь когда-нибудь.

Я поглядела на него.

– А я думала, вам нравится на острове.

– Может быть, но я не собираюсь тут оставаться. Зарывшись в песок, денег не заработаешь.

– Заработать денег? Вы за этим сюда приехали?

– Конечно. Как и все остальные, скажете нет? – Он игриво ухмыльнулся.

Воцарилась тишина. Мы шли молча: он – бесшумно, я – едва слышно хрустя подошвами ботинок по обломкам раковин, устилающим дюну.

– А вы по своему дому никогда не тоскуете? – спросила

я наконец.

– Боже мой, нет, конечно! – Он поморщился. – С какой стати? Там ничего нет.

– А ваши родители?

Он пожал плечами:

– Мать всю жизнь работала на износ. Отец... с нами не жил. А брат...

– У вас есть брат?

– Да. Джон.

Кажется, ему не хотелось обсуждать брата, но это лишь подстегнуло мое любопытство.

– Вы с ним не ладите?

– Скажем так: мы – совсем разные люди. – Он ухмыльнулся. – Родственники. Кто их только выдумал, а?

Я подумала: может, и Жан Большой того же мнения. Может, потому и вычеркнул меня из своей жизни.

– Я не могу его бросить просто так, – тихо сказала я.

– Конечно, можете. Ясно же, он не хочет...

– Какая разница, чего он хочет? Вы ведь видели шлюпочную мастерскую? Видели дом? Откуда он берет деньги? И что будет, когда эти деньги кончатся?

В Ле Салане нет банков. Островная пословица гласит: «Банк дает зонтик в займы до первого дождя». Островитяне хранят свои состояния в обувных коробках и под раковинной на кухне. Деньги обычно занимают частным порядком. Я не могла себе представить, чтобы Жан Большой брал у кого-то

взаймы; еще меньше мне верилось, что у него под половицей кубышка с деньгами.

– Он справится, – сказал Флинн. – У него есть друзья. Они за ним присмотрят.

Я попыталась представить себе, как за моим отцом ухаживает Оме Картошка, или Матиа, или Аристид. Вместо этого мне вспомнилось лицо Жана Большого в день нашего отъезда: пустой взгляд, который с равным успехом мог означать отчаяние, равнодушие или что-нибудь совершенно другое; едва заметный кивок, означавший, что отец принял происходящее к сведению, прежде чем отвернуться. Надо строить лодки. Нет времени на долгие проводы. Кричу из окна такси: «Я буду писать! Честное слово!» Мать с трудом ворочает чемоданы, лицо скривилось под бременем невысказанных слов.

Мы уже приблизились к дому. Я видела красные черепицы крыши над дюной. Из трубы вилось тонкое волоконец дыма. Флинн шел рядом, склонив голову, молча, спрятав выражение лица за водопадом волос.

Вдруг он остановился. В доме кто-то был; кто-то стоял у окна кухни. Я не могла разглядеть лица, но грузный силуэт ни с чем не спутать; крупное, медвежье тело, лицо прижато к стеклу.

– Жан Большой? – прошептала я.

Он покачал головой, взгляд его был насторожен.

– Бриман.

Он не изменился. Постарел. Поседел. Раздался в ширину, но на нем все те же памятные мне с детства эспадрильи и рыбацкая кепка, толстые пальцы тяжелы от колец, на рубахе потные круги под мышками, хотя сегодня прохладно. Он стоял у окна, когда я вошла, и держал в одной руке кружку, из которой поднимался пар. В комнате отчетливо пахло кофе с арманьяком.

– А, малютка Мадо.

Голос его завораживал. Роскошный, переливчатый; открытая, заразительная улыбка. Усы, хоть и поседели, стали еще пышнее прежнего, словно у водевильного комика или коммунистического тирана. Он сделал три быстрых шага вперед и обхватил меня густо-веснушчатыми руками:

– Мадо, ну до чего же, до чего же я рад тебя опять видеть! Объятия у него тоже были массивные, как и все остальное.

– Я сварил кофе. Надеюсь, ты не возражаешь. Мы же все одна семья, верно? – (Я полузадушенно кивнула.) – Как Адриенна? А дети? Мой племянник не очень-то часто пишет.

– Моя сестра тоже.

Он в ответ засмеялся – густым, как кофе, смехом.

– Э, молодежь! Но ты-то, ты! Дай я на тебя погляжу. Ты выросла! Гляжу и чувствую себя столетним стариком. Но оно того стоит, чтобы поглядеть на твое лицо, Мадо. Ты такая

красивая.

Вот про это я почти забыла – про его обаяние. Он умел заставить врасплох, обезоружить. За его экзотическим видом чувствовался ум – глаза всезнающие, грифельного цвета, почти черные. Да, в детстве он мне нравился. И до сих пор нравится.

– Что, деревня все еще под водой? Плохо дело. – Он выпустил мощный вздох. – Должно быть, ты уже видела, как сильно все изменилось. Не всякому такая жизнь подходит, верно? На острове-то? Молодежи хочется веселиться, а на нашем бедном старом острове негде.

Я помнила про Флинна – он все еще стоял за дверью со своими садками. Ему, видно, не хотелось входить, хотя я чувствовала его любопытство и нежелание оставлять меня наедине с Бриманом.

– Заходите, – сказала я Флинну. – Выпейте кофе.

Флинн покачал головой.

– До свидания.

Бриман едва глянул на уходящего Флинна, опять повернулся ко мне и дружески обхватил рукой за плечи.

– Ну расскажи мне про себя все-все-все.

– Мсье Бриман...

– Мадо, зови меня Клод, я тебя очень прошу. – Его необъятное дружелюбие, под стать какому-нибудь огромному Санта-Клаусу, слегка подавляло. – Что ж ты меня не предупредила, что приедешь? Я уж почти и надеяться перестал...

– Я не могла раньше приехать. Мама болела.

– Я знаю. – Он налил мне стаканчик кофе. – Бедная ты, бедная. А теперь еще с Жаном Большим беда...

Он уселся на стул, заскрипевший под его весом, и похлопал по соседнему стулу.

– Я ужасно рад, что ты приехала, маленькая Мадонна, – бесхитростно сказал он. – Я рад, что ты мне доверилась.

Первые годы после отъезда с Колдуна были тяжелее всего. Хорошо, что мы были сильны. Мать из романтической натуры превратилась в жесткого, практичного человека, боялась потратить лишний грош – и это нам сильно помогло. Мать не умела делать никакой квалифицированной работы и устроилась уборщицей. Все равно мы жили очень бедно.

Жан Большой нам денег не присылал. Матери этот факт доставлял горькое удовлетворение – она чувствовала, что ее это оправдывает. В школе, большом парижском лицее, я ощущала себя еще более чужой из-за поношенной одежды.

Но Бриман нам в какой-то степени помогал. Что ни говори, мы теперь были родня, хоть и с другой фамилией. Денег он не слал, но на Рождество приходили посылки с одеждой, и книгами, и красками для меня – когда он узнал про мое увлечение. В школе я находила утешение в кабинете рисования – он чем-то напоминал отцовскую шлюпочную мастерскую, где вечно что-нибудь деловито шумело под сурдинку и пахло свежими опилками. Я стала с нетерпением ждать уроков рисования. У меня оказались хорошие способности к этому

предмету. Я рисовала пляжи, рыбацкие лодки, низкие беле-
ные домики под нависшим небом. Мать, конечно, эти рисун-
ки ненавидела. Потом они стали нашим основным источни-
ком дохода, но она не перестала ненавидеть то, что было на
них изображено. Она подозревала, хотя никогда не произно-
сила вслух, что я таким образом нарушаю наш с ней договор.

Когда я училась в колледже, Бриман продолжал писать.
Не моей матери – она погрузилась в Париж, в его блеск и
безвкусицу, и не желала, чтобы ей напоминали про Колдун, –
но мне. Письма были недлинные, но у меня ничего не было,
кроме них, и я жадно поглощала каждую крупицу новостей.
Я решила, что Бриман не заслужил репутации, которой поль-
зовался у саланцев, что виной тому их мелочность, предрас-
судки и зависть. Больше никто не поддерживал с нами отно-
шений; он один хоть как-то помогал. Иногда я ловила себя
на мысли: вот бы он, а не Жан Большой, оказался моим на-
стоящим отцом.

Потом, год назад, начались намеки, что в Ле Салане что-
то неладно. Сначала Бриман вскользь упомянул, что уже до-
вольно давно не видел Жана Большого. Дальше – больше.
Отец всегда был эксцентричен, даже во времена моего дет-
ства, но теперь его эксцентричность усиливалась. Ходили
слухи, что он очень болен, но отказался повидать доктора.
Бриман беспокоился.

Я не отвечала на его письма. Все мое время уже занимал
уход за матерью. Ее эмфизема, которая стала хуже от грязно-

го городского воздуха, резко усилилась, и врач пытался убедить маму переехать. Куда-нибудь к морю, говорил он, где воздух чище. Но мать отказалась его слушать. Она обожала Париж. Она любила магазины, кино, кафе. Она странным образом не завидовала богачкам, чьи квартиры убирала, вчуже радуясь их одежде, их мебели, их жизни. Я понимала, что такой жизни она хочет для меня.

Бриман продолжал писать. Он все беспокоился. Он написал Адриенне, но ответа не было. Я могла в это поверить: когда маму положили в больницу, я позвонила сестре, но к телефону подошел Марэн и сказал, что Адриенна опять беременна и ехать никуда не может. Через четыре дня мама умерла, и Адриенна, вся в слезах, сказала мне по телефону, что доктор запретил ей утомляться.

Я пила кофе долго. Бриман терпеливо ждал, обняв меня большой рукой за плечи.

– Я знаю, Мадо, тебе нелегко пришлось.

Я вытерла глаза.

– Этого следовало ожидать.

– Ты должна была прийти ко мне.

Он огляделся; я поняла, что он заметил грязный пол, гору посуды, нескрытые письма, запущенность.

– Я хотела увидеть своими глазами.

– Я понимаю. – Бриман кивнул. – Он твой отец. Семья для человека – это всё.

Он встал, словно внезапно заполнив собой комнату, и всунул руки в карманы.

– Ты знаешь, у меня был сын. Моя жена его увезла, когда ему было три месяца. Я ждал тридцать лет и все надеялся... знал... что в один прекрасный день он вернется домой.

Я кивнула. Я знала эту историю. Саланцы, конечно, считали, что виноват сам Бриман.

Он покачал головой и внезапно показался стариком, словно отбросил всякий наигрыш.

– Глупо, правда? Как мы себя обманываем. Какие шипы вонзаем друг в друга.

Он поглядел на меня.

– Мадо, Жан Большой тебя любит. По-своему.

Я подумала о фотографии с моего дня рождения и об отцовской руке, лежащей на плече Адриенны. Бриман осторожно взял меня за руку.

– Я мог бы помочь тебе позаботиться об отце, – сказал он.

– Я знаю.

– Я могу все устроить. Там очень хорошо, Мадо. В «Иммортелях». Медицинское обслуживание не хуже, чем в больнице; доктор с материка; комнаты большие; и он сможет видеться с друзьями так часто, как только пожелает.

Я заколебалась. Сестра Тереза и сестра Экстаза уже рассказали мне про то, как живут у Бримана пенсионеры. Судя по всему, это должно было стоить кучу денег.

Он покачал головой, словно отменяя мои сомнения.

– Я все устрою. Продажа земли покрывает все расходы. Может, еще и с лихвой. Я понимаю, Мадо, тебе это не по душе. Но может быть, так будет лучше.

Я обещала подумать. Бриман и раньше намекал на это в письмах, но открыто заговорил впервые. Мне казалось, что это стоящее предложение: Жан Большой, в отличие от мамы, никогда не верил в медицинскую страховку, а я не могла оплачивать уход за ним из своих скудных заработков. Несомненно, он нуждается в помощи. А у меня своя жизнь, в Париже, куда я могу – нет, должна – вернуться. Десять лет я идеализировала Ле Салан, воображая себя изгнанницей, ради места, которого уже нигде не было – а может, и вообще никогда не было, – кроме как в моей памяти. Но каковы бы ни были мои мечты, столкновения с суровой реальностью им не пережить. Мой дом уже не здесь. Слишком многое изменилось.

На выходе из дома мне попались Ален Геноле и его сын Гилен – они шли навстречу мне, из деревни. Оба запыхались. Они были очень похожи, но Ален – в традиционной парусиновой *vareuse*, а Гилен – в ядовито-желтой футболке, неоново светившейся на фоне загорелой кожи. Завидев меня, он ухмыльнулся и рывками побежал вверх по большой дюне.

– Мадам Жан Большой, – выдохнул он, останавливаясь, чтобы перевести дух. – Дайте нам на время ваш прицеп из шлюпочной мастерской. Это очень срочно.

Сначала я решила, что он меня не узнал. Это Гилен Геноле, он двумя годами старше меня; мы играли вместе детьми. Неужели он действительно назвал меня мадам Жан Большой?

Ален поздоровался кивком. Он тоже беспокоился, но явно не считал дело настолько важным, чтобы из-за него бежать.

– «Элеонора», – крикнул он из-за дюны. – Мы ее нашли в Ла Уссиньере, сразу за «Имморталями». Мы сейчас идем туда забирать ее, но нам нужно взять прицеп у вашего отца. Он дома?

Я покачала головой.

– Я не знаю, где он.

Гилен явно забеспокоился.

– Дело неотложное, – сказал он. – Нам придется забрать прицеп так. Может, вы... скажете ему, для чего это...

– Конечно, берите, – сказала я. – Я пойду с вами.

Тут Ален, наконец поравнявшийся с нами, посмотрел на меня с сомнением.

– Не думаю...

– Это лодка работы моего отца, – твердо сказала я. – Он ее построил много лет назад, еще до моего рождения. Он мне никогда не простит, если я не помогу. Вы знаете, как он ее любит.

Он любил ее по-настоящему; это я помнила. «Элеонора» была первой из его дам, не самая красивая, но для него дороже всех. Одна мысль о том, что лодка может погибнуть, приводила меня в отчаяние.

Ален пожал плечами. Для него лодка была средством к существованию. Где под угрозой деньги, там нет места сантиментам. Гилен побежал за прицепом, а мне вдруг стало легче – словно эта чрезвычайная ситуация означала для меня отсрочку приговора.

– Может, вам не стоит беспокоиться? – спросил Ален, пока его сын привязывал тягач к старой машине. – Там ничего особенно интересного не будет.

Меня обидело его неявное предположение.

– Я хочу помочь, – ответила я.

«Элеонора» застряла на камнях в Ла Уссиньере, метрах в

пятистах от берега. Приливным течением ее заклинило между камнями, и хотя вода была все еще не очень высока, дул резкий ветер, и с каждой волной поврежденный корпус вбивало в камни. Кучка саланцев – в том числе Аристид, его внук Ксавье, Матиа, Капуцина и Лоло – наблюдала за происходящим с берега. Я жадно оглядела лица – отца среди них не было. Но я заметила Флинна в рыбацких сапогах и свитере, со спортивной сумкой через плечо. Скоро к ним подошел Дамьен, приятель Лоло; теперь, видя его рядом с Аленом и Гиленом, я улавливала семейные черты Геноле.

– Держись подальше, Дамьен, – сказал Ален, завидев его. – Нечего тебе путаться под ногами.

Дамьен мрачно посмотрел на отца и сел на камень. Через несколько секунд я опять взглянула на него и увидела, что он зажег сигарету и демонстративно курит, повернувшись спиной. Ален, казалось, ничего не замечал – он не сводил глаз с «Элеоноры».

Я села рядом с мальчиком. Какое-то время он меня игнорировал. Потом любопытство взяло верх, и он повернулся ко мне.

– Я слышал, вы жили в Париже, – тихо сказал он. – Какой он?

– Как любой другой большой город. Огромный, шумный, толпы народу.

Он ненадолго расстроился. Потом просветлел:

– Может, это европейские города такие. В Америке не так.

У моего брата есть американская футболка. Вот, она сейчас на нем надета.

Я улыбнулась, отводя взгляд от люминесцирующего торса Гилена.

– В Америке люди едят одни гамбургеры, – сказал Ален, слушавший наш разговор, – и все девушки там толстые.

Мальчик возмутился:

– Ты-то почему знаешь? Ты там сроду не бывал.

– Ты тоже.

На близлежащем молу, прикрывающем бухточку, стояло несколько уссинцев – тоже глазели на поврежденную лодку. Жожо-Чайка, старый уссинец с повадками моряка и сальным взглядом, приветственно махнул нам.

– Посмотреть пришли? – ухмыльнулся он.

– Пшел вон, Жожо, – огрызнулся Ален. – Тебе тут нечего делать, это мужская работа.

– Работенка еще та, снимать ее с места, – расхохотался Жожо. – Вода поднимается, и ветер с моря. Я не удивлюсь, если что-нибудь пойдет не так.

– Не обращайтесь на него внимания, – посоветовала Капучина. – Он так болтает с тех самых пор, как мы пришли.

Жожо явно обиделся.

– Я могу снять ее с камней и довести до берега, – предложил он. – Моя «Мари-Жозеф» ее запросто утащит. А дальше можно привести тягач на берег, проще простого. И погрузить тоже просто.

– Сколько? – подозрительно спросил Ален.

– Ну, во-первых, моя лодка. Во-вторых, работа. Доступ...

Скажем, тысячу.

– Доступ? – Ален был в ярости. – Куда?

Жожо ухмыльнулся.

– На «Иммортели», конечно. Это частный пляж. Распоряжение мсье Бримана.

– Частный пляж! – Ален поглядел на «Элеонору», и лицо у него сделалось злое. – С каких это пор?

Жожо осторожно закурил огрызок «житан».

– Только для постояльцев отеля, – сказал он. – Нечего всякому сброду тут ошиваться.

Он врал, и все это знали. Я видела, что Ален мысленно прикидывает, нельзя ли снять «Элеонору» вручную.

Я сердито глянула на Жожо.

– Я очень хорошо знаю мсье Бримана, – сказала я ему. – Не думаю, что он станет брать деньги за вход на пляж.

Жожо ухмыльнулся.

– Пойдите да спросите, – предложил он. – Сами увидите, что он ответит. Торопиться вам некуда: «Элеонора» никуда не денется.

Ален опять поглядел на «Элеонору».

– Мы справимся? – спросил он Гилена.

Гилен пожал плечами.

– Рыжий, мы справимся?

Флинн, который на время этого разговора удалился в на-

правлении мола со своей спортивной сумкой, теперь вернулся без нее. Он поглядел на лодку и покачал головой.

– Не думаю, – сказал он. – Без «Мари-Жозеф» вряд ли. Лучше сделать, как он говорит, пока прилив не поднялся выше.

«Элеонора» была тяжелая – типичная островная устричная лодка, с низким носом и освинцованным дном. Прилив бьет ей в корму, и скоро станет почти невозможно снять ее с камней. А если ждать, пока начнется отлив – десять часов или больше, – за это время лодку побьет еще сильнее. Торжествующая ухмылка Жожо стала шире.

– Я думаю, у нас может получиться, – сказала я. – Надо будет развернуть ее носом в ту сторону, по ветру. Мы затащим ее на мелководе, а дальше потянем тросом.

Ален поглядел на меня, потом на других саланцев. Я видела, он мысленно прикидывает наши силы, считает, сколько рук понадобится на эту работу. Я оглянулась, надеясь увидеть среди остальных лицо Жана Большого, но его не было.

– Я – за, – сказала Капуцина.

– Я тоже, – сказал Дамьен.

Ален нахмурился.

– Вы, мальчишки, держитесь подальше, – приказал он. – Еще поломаете себе чего-нибудь.

Он опять поглядел на меня, потом на остальных. Матиа был слишком стар для дела, но Флинн, Гилен, Капуцина и я – может, мы и справимся. Аристид презрительно держался

поодаль, а вот Ксавье явно жалел, что не может к нам присоединиться.

Жожо ждал, ухмыляясь.

– Ну, что скажете?

Старого моряка, видно, очень веселило, что Ален прислушивается к мнению женщины.

– Попробуем, – настаивала я. – Мы ничего не теряем.

Но Ален все колебался.

– Она права, – нетерпеливо сказал Гилен. – Чего вы? Вдруг одряхлели или что? У Мадо больше запала, чем у всех вас!

– Ладно, – наконец согласился Ален. – Попытка не пытка.

Флинн взглянул на меня:

– Кажется, вы обзавелись поклонником.

Он ухмыльнулся и легко спрыгнул на мокрый песок.

Уже почти свечерело, и прилив прошел три четверти до высшей точки, когда мы наконец признали свое поражение, а Жожо к тому времени вздул цену еще на тысячу франков. Мы замерзли, не чувствовали рук и ног, совершенно вымотались. Флинн держался уже не как на увеселительной прогулке, а меня чуть не раздавило между «Элеонорой» и скалой, пока мы силились развернуть лодку. Неожиданная приливная волна, нос лодки резко вильнул в сторону вместе с ветром – и корпус «Элеоноры» больно, до тошноты, въехал мне в плечо, отшвырнул в сторону и хлестнул по лицу чер-

ным флагом воды. Я ощутила спиной скалу и на протяжении панической секунды была уверена, что сейчас меня придавит или еще похуже. От страха – и от облегчения, когда оказалось, что я чудом осталась невредима, – я разозлилась. Я повернулась к Флинну, который стоял как раз позади меня.

– Вы должны были держать нос! Какого черта?!

Флинн бросил концы, которыми мы крепили лодку. В гаснущем свете лицо его казалось расплывчатым пятном. Он полуотвернулся от меня, и я услышала, как он ругается – удивительно умело для иностранца.

Послышался длительный визг – это корпус «Элеоноры» в очередной раз переместился на камнях, потом накренился и уселся на прежнее место. Уссинцы на молу издевательски закричали «ура!».

Ален злобно крикнул Жожо через водное пространство:

– Ладно, твоя взяла. Давай сюда «Мари-Жозеф».

Я поглядела на него, и он покачал головой.

– Без толку. У нас ничего не выйдет. Пора кончать.

Жожо ухмыльнулся. Все это время он глазел на нас, безостановочно курил свои окурки, зажигая один от другого, и молчал. Я, сердитая, начала пробираться к берегу. Остальные последовали за мной, с трудом продвигаясь в мокрой одежде. Флинн шел ближе всех – голова опущена, руки спрятаны под мышками.

– У нас почти получилось, – сказала я. – Могло получиться. Если б только мы удержали этот чертов нос...

Флинн пробормотал что-то невнятное.

– Чего-чего?

Он вздохнул.

– Когда закончите меня ругать, пожалуйста, приведите тягач. Он понадобится на «Иммортелях».

– Я думаю, что прямо сейчас мы точно никуда не поедem.

От разочарования у меня в голосе появилась резкость; Ален, заслышав это, на мгновение поднял голову, потом отвел взгляд. Кучка зевак-уссинцев разразилась издевательскими аплодисментами. Саланцы были мрачны. Аристид, наблюдавший с мола, неодобрительно поглядел на меня. Ксавье, который во все время нашей спасательной операции стоял рядом с дедом, неловко улыбнулся мне поверх проводочной оправы очков.

– Надеюсь, ты считаешь, что с пользой провела время, – сказал Аристид.

– У нас могло получиться, – тихо ответила я.

– Пока ты тут доказывала что-то всему свету, Геноле лишился лодки.

– Я хотя бы попыталась, – ответила я. – Если бы нас было хоть на одного человека больше, мы могли бы ее спасти.

Старик пожал плечами.

– Чего это мы будем помогать Геноле?

Тяжело опираясь на палку, он пошел обратно по молу, а Ксавье молча последовал за ним.

Понадобилось еще два часа, чтобы вытащить «Элеонору» на берег, и еще полчаса у нас ушло, чтобы поднять ее с мокрого песка и погрузить на прицеп. К этому времени прилив уже достиг высшей точки, и спускалась ночь. Жожо курил свои бычки и жевал высыпавшийся из них табак, время от времени сплевывая табачную жвачку на песок меж ногами. По настоянию Алена я наблюдала небыстрый процесс спасения лодки с безопасной точки, выше линии прилива, и ждала, пока в ушибленной руке восстановится чувствительность.

Наконец работа была сделана, и все присели отдохнуть. Флинн сел на сухой песок, прислонившись спиной к колесу тягача. Капуцина и Ален закурили «житан». С этого конца острова хорошо виден был материк, залитый оранжевым светом. Время от времени начинал мигать, выговаривая несложное послание, *balise* – предупреждающий бакен. Холодное небо было фиолетовое, с млечным оттенком по краям, и меж облаков как раз начали показываться звезды. Ветер с моря как ножом резал тело через мокрую одежду, и меня била дрожь. У Флинна кровоточили руки. Даже при тусклом свете я видела места, где мокрые веревки врезались ему в ладони. Мне стало немножко стыдно, что я на него накричала.

Подошел Гилен и встал рядом. Я слышала, как он дышит рядом с моей шеей.

– Вы как? Вас очень здорово лодкой треснуло.

– Все в порядке.

– Вам холодно. Вы дрожите. Давайте я вам принесу...

– Не надо. Все в порядке.

Наверно, я зря на него огрызнулась. Он хотел мне помочь. Но у него в голосе было что-то такое... ужаснувшая меня снисходительность. Мне показалось, что Флинн в тени колеса тихо засмеялся.

Я была так уверена, что Жан Большой в конце концов объявится. Теперь, когда прошло уже столько времени, я наконец задумалась, почему он не пришел. Он же не мог не знать про «Элеонору». Я вытерла глаза, меня одолело уныние.

Гилен все смотрел на меня поверх сигареты. В полутьме его люминесцентная футболка зловеще светила.

– Вы уверены, что с вами все в порядке?

Я мрачно улыбнулась.

– Простите. Мы должны были спасти «Элеонору». Если б только было побольше народу. – Я потеряла руку об руку, чтоб согреться. – Я думаю, Ксавье помог бы нам, если бы Аристид тут не было. Заметно было, что ему хотелось помочь.

Гилен вздохнул.

– Мы с Ксавье всегда нормально ладили, – сказал он. – Он, конечно, Бастонне. Но тогда это как-то не имело значения. А теперь Аристид не спускает с него глаз, и...

– Ужасный старик. Что с ним такое?

– Я думаю, он боится, – ответил Гилен. – У него никого больше нет, кроме Ксавье. Аристид хочет, чтобы Ксавье

остался на острове и женился на Мерседес Просаж.

– Мерседес? Она хорошенькая.

– Да, ничего.

Было темно, но голос Гилена прозвучал так, что я была уверена – он покраснел.

Мы наблюдали, как темнеет небо. Гилен докурил свою сигарету, пока Ален и Матиа осматривали «Элеонору», определяя размеры ущерба. Он превзошел наши худшие предположения. У «Элеоноры», как у всех устричных лодок, был небольшой киль, ведь она предназначалась для устричных отмелей, а не для ловли на глубине. Камни полностью сорвали с лодки дно. Руль разлетелся на куски; красный коралл, которым отец украшал на счастье все свои лодки, еще болтался на остатках мачты; мотор исчез. Мужчины вытащили лодку на дорогу, и я вышла следом, обессиленная и больная. Выйдя на дорогу, я заметила, что старый волнолом в дальнем конце пляжа укрепили каменными блоками и получилась широкая дамба, достигавшая Ла Жете.

– Это новое, верно? – спросила я.

Гилен кивнул.

– Это Бриман сделал. Последние года два были сильные приливы. Смывали песок. Эти камни его хоть как-то прикрывают.

– Вот что надо бы сделать в Ле Салане, – заметила я, думая про разоренный Ла Гулю.

Жожо ухмыльнулся.

– Пойди поговори с Бриманом. Он точно знает, что делать.

– Как будто его кто спрашивает, – пробормотал Гилен.

– Вот ведь упертые, – сказал Жожо. – Скорее готовы дожидаться, пока всю деревню смоет, чем заплатить за работу сколько надо.

Ален взглянул на него. Ухмылка Жожо на миг разъехалась еще шире, обнажив пеньки зубов.

– Я всегда говорил твоему отцу, что ему нужна страховка, – заметил он. – Да только он меня не слушал.

Он взглянул на «Элеонору».

– А эту посудину все равно пора на слом. Заведи себе что-нибудь новое. Посовременнее.

– Нет, она еще годится, – ответил Ален, не клюнув на приманку. – Эти старые лодки практически неубиваемые. На самом деле она в лучшем состоянии, чем кажется. Надо кое-где подлатать, поставить новый мотор...

Жожо засмеялся и покачал головой.

– Валяй, латай ее. Это тебе обойдется вдесятеро дороже самой лодки. А потом что? Знаешь, сколько я зарабатываю за день в сезон катаньем туристов?

Гилен нехорошо посмотрел на него.

– Может, это ты спер двигатель, – вызывающе сказал он. – Продашь его во время очередной поездки на побережье. Ты вечно что-нибудь продаешь. И никто не задает вопросов.

Жожо оскалился.

– Я вижу, вы, Геноле, по-прежнему мастера болтать – сказал он. – Твой дед точно такой же. Чем там кончилась ваша тяжба с Бастонне? Сколько вы отсудили, а? А во сколько она тебе обошлась, что скажешь? А твоему отцу? А брату?

Гилен, обескураженный, опустил глаза. В Ле Салане все знали, что тяжба между Геноле и Бастонне шла двадцать лет и разорила обе стороны. Причина – почти забытый спор из-за устричной отмели на Ла Жете – теперь представляла лишь гипотетический интерес, так как спорную территорию давно поглотили блуждающие песчаные банки, но вражда сторон так и не утихла, переходя из поколения в поколение, словно взамен промотанного наследства.

– Ваш двигатель, скорее всего, вынесет на берег где-нибудь вон там, – сказал Жожо, лениво махнув рукой в сторону Ла Жете. – Или так, или вы найдете его на Ла Гулю, только копайте глубже.

Он сплюнул на песок мокрую табачную жвачку.

– Я слышал, вы и святую свою вчера потеряли. Ну и растяпы же у вас там.

Ален с трудом сохранял спокойствие.

– Тебе легко смеяться, Жожо, – сказал он. – Но счастье меняется, как говорят, даже тут. Не будь у вас этого пляжа...

Матиа кивнул.

– Верно, – прорычал он. Его островной акцент был так силен, что даже я с трудом разбирала слова. – Этот пляж –

вся ваша удача. Не забывайте. Он мог быть наш.

Жоjo закаркал от смеха.

– Ваш! – издевательски протянул он. – Если б он был ваш, вы бы его давно просрали, как и все остальное...

Матиа шагнул вперед – руки старика тряслись. Ален предостерегающе положил руку отцу на плечо.

– Хватит. Я устал. У нас много работы на завтра.

Но эти слова почему-то застряли у меня в голове. Они были как-то связаны с Ла Гулю, с Ла Бушем, с запахом дикого чеснока на дюнах. «Он мог быть наш». Я попыталась понять, в чем связь, но соображала плохо – слишком замерзла и устала. К тому же Ален был прав – это ничего не меняло. У меня по-прежнему было много работы на завтра.

Явившись домой, я обнаружила, что отец уже лег. Это отчасти было даже хорошо – я была не в состоянии обсуждать что-либо прямо сейчас. Я развесила мокрую одежду у печки – посушить, выпила стакан воды и пошла к себе в комнату. Включив ночник, я увидела, что у кровати кто-то поставил баночку с букетом диких цветов – розовые песчаные гвоздички, голубой чертополох, «заячьи хвостики». Нелепый и трогательный жест со стороны отца, обычно не склонного демонстрировать свои чувства; я заснула не сразу – лежала и пыталась понять, что все это значит, потом наконец сон одолел меня, и через секунду настало утро.

Проснувшись, я обнаружила, что Жан Большой уже ушел. Он всегда был ранней птичкой – летом просыпался в четыре часа утра и отправлялся в долгие прогулки по дюнам; я оделась, позавтракала и последовала его примеру.

Я добралась до Ла Гулю часов в девять утра, и там уже было полно саланцев. Сначала я не поняла почему; потом вспомнила о пропаже святой Марины, о которой на время забыла вчера из-за потери «Элеоноры». Сегодня утром святую начали опять искать, как только позволил прилив, но пока что никаких следов не нашли.

Казалось, на поиски собралось полдеревни. Тут были все четверо Геноле – они обыскивали отмели, обнажающиеся с

отливом, а на галечной полоске ниже тропы собралась кучка зрителей. Мой отец ушел далеко за кромку воды; вооружившись деревянными граблями с длинной ручкой, он медленно, методически прочесывал дно, время от времени останавливаясь, чтобы вытащить из зубьев ком водорослей или камушек.

На краю галечной полоски стояли Аристид и Ксавье – наблюдали, но не участвовали. Позади них нежилась на солнце Мерседес, читая журнал, а Шарлотта с беспокойным видом наблюдала за окружающими. Я заметила, что, хоть Ксавье и старается обычно не смотреть на людей, на Мерседес он не смотрит особенно старательно. У Аристида вид был злорадный – словно кого-то постигла беда.

– Не повезло с «Элеонорой», э? Ален говорит, в Ла Усси-ньере с него просят шесть тысяч за ремонт.

– Шесть тысяч?

Вся лодка столько не стоила, и, конечно, Геноле такая сумма не по карману.

– Э, – Аристид кисло улыбнулся. – Даже Рыжий говорит, что овчинка не стоит выделки.

Я поглядела мимо него, на небо: желтая полоска меж облаками бросала болезненный отсвет на осыхающие отмели. По ту сторону приливного ручья немногочисленные рыбаки разложили сети и тщательно выбирали из них водоросли. «Элеонору» выволокли вверх по берегу, и она валялась в грязи, сверкая ребрами, точно дохлый кит.

Мерседес у меня за спиной картинно перевернулась на бок.

– Насколько мне известно, – отчетливо произнесла она, – было бы куда лучше, если бы она не лезла не в свое дело.

– Мерседес! – простонала ее мать. – Что ты такое говоришь!

Девушка пожала плечами.

– А что, неправда, что ли? Если бы они не потеряли столько времени...

– Замолчи сейчас же! – Взбужденная Шарлотта повернулась ко мне: – Простите. Она очень чувствительная.

Ксавье, судя по его виду, было не по себе.

– Не повезло, – тихо сказал он, обращаясь ко мне. – Хорошая была лодка.

– Хорошая. Мой отец ее строил.

Я поглядела через отмели туда, где все трудился Жан Большой. Он ушел уже на добрый километр, крохотная упрямая фигурка, почти неразличимая в дымке.

– Сколько времени они уже ищут?

– Часа два. Как только отлив начался. – Ксавье пожал плечами, избегая моего взгляда. – Она сейчас может быть уже где угодно.

Геноле, судя по всему, чувствовали свою ответственность. Из-за того что они потеряли «Элеонору», поиски святой были отложены, а поперечные течения с Ла Жете довершили дело. Ален решил, что святую Марину занесло песком где-

нибудь в заливе и найти ее можно лишь чудом.

– Сперва Ла Буш, потом «Элеонора», теперь это. – Это был Аристид – он все еще наблюдал за мной со злорадным торжеством. – А что, ты уже сказала отцу про Бримана? Или это будет очередной сюрприз?

Я ошарашенно поглядела на него:

– Про Бримана?

Старик ослабился.

– А я все думал, сколько времени пройдет, пока он начнет шнырять кругом? Место в «Имморталях» в обмен на землю? Это он тебе обещал?

Ксавье глянул на меня, потом на Мерседес и Шарлотту. Обе внимательно слушали. Мерседес уже не притворялась, что читает, а смотрела на меня поверх журнала, слегка приоткрыв рот.

Я не дрогнула под пристальным взглядом старика, не хотела, чтобы меня вынудили лгать.

– Мои дела с Бриманом вас не касаются. Я не собираюсь их с вами обсуждать.

Аристид пожал плечами.

– Значит, я прав, – сказал он с горьким удовлетворением. – Речь идет о благе Жана Большого. Так всегда говорят, верно? Что это для его же блага?

У меня всегда был тяжелый характер. Я вспыхивала не сразу – пламя долго тлело под спудом, но стоило ему разгореться, и начинался яростный пожар. Я чувствовала, как он

разгорается у меня внутри.

– А вы-то откуда знаете? – резко спросила я. – За вами, кажется, пока никто не вернулся ухаживать!

Аристид застыл.

– Это тут ни при чем, – ответил он.

Но я уже не могла остановиться.

– Вы на меня кидались с момента моего приезда, – сказала я. – Вы только одного не можете понять – что я люблю своего отца. Вы-то никого не любите!

Аристид дернулся, словно я его ударила, и в этот момент я увидела его таким, как есть, – не злобным людоедом, но усталым стариком, желчным и напуганным. Внезапно меня пронзили жалость и сочувствие к нему... и к себе. Я растерянно подумала: ведь я ехала домой, исполненная добрых намерений. Почему же они так быстро переродились?

Но Аристид еще не был окончательно сломен: он посмотрел на меня с вызовом, хоть и знал, что я победила.

– Хочешь сказать, что ты не за этим сюда приехала? – тихо спросил он. – Да люди приезжают только тогда, когда им чего-то надо!

– Аристид, как тебе не стыдно, старый ты баклан! – Это Туанетта тихо подошла к нам сзади по тропе. Лица ее под крыльями *quichenotte* было почти не разобрать, но я видела глаза, яркие, блестящие, как у птички. – В твои-то годы слушать дурацкие сплетни! Пора бы и поумнеть.

Аристид вздрогнул и обернулся. Туанетте, по ее собствен-

ным расчетам, было под сотню; он в свои семьдесят был юнцом в сравнении с ней. Видно было, что он невольно уважает старуху и устыдился, услышав ее слова.

– Туанетта, Бриман был у них... – начал он.

– А почему ему там не быть? – Старуха шагнула вперед. – Девочка – его родственница. Что такое? Может, ты хочешь, чтобы ей было дело до твоих старых дрызг? Которые раздирают Ле Салан уже лет пятьдесят?

– Я все ж таки хочу сказать...

– Ничего ты не хочешь сказать. – Глаза Туанетты сверкали, как петарды. – И если я еще раз услышу, что ты распускаешь эти дрянные сплетни, я...

Аристид надулся.

– Туанетта, мы на острове. Тут и не захочешь, да услышишь. Я не виноват, если Жан Большой узнает.

Туанетта взглянула за отмели, потом на меня. В лице ее было беспокойство, и я поняла, что уже поздно. Аристид успел посеять ядовитые семена. Интересно, кто рассказал ему про визит Бримана, откуда он так много знает.

– Не переживай. Я его наставлю на путь истинный. Меня он послушает.

Туанетта взяла мою руку в свои ладони; они были сухи и коричневые, как пла́вник.

– Ну пойдем, – отрывисто сказала она, таща меня за собой по тропе. – Нечего тебе тут околачиваться. Пойдем ко мне домой.

Туанетта жила в однокомнатном домике на дальнем конце деревни. Дом был старомодный даже по островным стандартам – стены из дикого камня, замшелая черепица на низкой крыше, которую поддерживают почернелые от дыма балки. Окна и дверь крохотные, словно для ребенка, туалет – шаткая будка за домом, у поленницы. Подходя, я видела одинокую козу, щипавшую траву с крыши.

– Ну что, признавайся, ты так и сделала, – сказала Туанетта, распахивая дверь.

Мне пришлось пригнуться, чтобы не удариться головой о притолоку.

– Я ничего не делала.

Туанетта сняла *quichenotte* и строго взглянула на меня.

– Не увиливай, девочка, – сказала она. – Я все знаю про Бримана и его планы. Он и со мной пытался сделать ту же штуку, ну, знаешь, место в «Иммортелях» взамен моего дома. Даже пообещал заплатить за похороны. Похороны!

Она хихикнула.

– Я ему сказала, что собираюсь жить вечно.

Она повернулась ко мне, опять посерьезнев.

– Я знаю, что он за человек. Он и монашку уболтает трусы снять, если на них найдется покупатель. А на Ле Салан у него есть планы. Только никто из нас в этих планах не фигурирует.

Это я уже и раньше слыхала, у Анжело.

– Если и есть, я никак не возьму в толк, что за планы, – сказала я. – Он мне помогал, Туанетта. Больше многих саланцев.

– Аристид... – Старуха нахмурилась. – Не осуждай его, Мадо.

– Почему?

Она ткнула в меня пальцем, больше похожим на сухую веточку.

– Твой отец не единственный человек на острове, кто страдал, – строго сказала она. – Аристид потерял двух сыновей. Одного – в море, другого – по собственной глупости. Это его ожесточило.

Старший сын Аристида, Оливье, погиб на рыбной ловле в 1972 году. Младший, Филипп, прожил следующие десять лет в доме, превращенном в молчаливое святилище памяти Оливье.

– Он, конечно, слетел с катушек. – Туанетта покачала головой. – Связался с девицей-уссинкой, можешь себе представить, что его отец на это сказал.

Ей было шестнадцать лет. Филипп, узнав о ее беременности, запаниковал и сбежал на материк, оставив Аристида и Дезире объясняться с разгневанными родителями девушки. После этого в доме Бастонне было запрещено всякое упоминание о Филиппе. Еще несколько лет спустя вдова Оливье умерла от менингита, оставив Ксавье, своего единственного сына, на попечение бабки с дедом.

– Ксавье теперь их единственная надежда, – объяснила Туанетта почти теми же словами, что Гилен. – Стоит ему чего-нибудь захотеть, и он это получает. Все что угодно – лишь бы оставался тут.

Я вспомнила лицо Ксавье – бледное, лишенное всякого выражения. Гилен тогда сказал: если Ксавье женится, то наверняка не уедет. Туанетта угадала мои мысли.

– О да, его, можно сказать, сговорили с Мерседес, еще когда они были детьми, – сказала она. – Но моя внучка – та еще штучка. У нее свое мнение на этот счет.

Я подумала о Мерседес; о нотках в голосе Гилена, когда он о ней говорил.

– И она никогда не выйдет за бедняка, – продолжала Туанетта. – Стоило Геноле потерять лодку, и их мальчик потерял всякий шанс жениться на Мерседес.

Я поразмыслила над этим.

– Вы что, хотите сказать, что Бастонне приложили руку к «Элеоноре»?

– Я ничего не хочу сказать. Я не разношу сплетен. Но что бы с ней ни случилось – именно ты не должна лезть в это дело.

Я опять подумала про отца.

– Это была его любимая лодка, – упрямо сказала я.

Туанетта поглядела на меня.

– Э, может, и так. Но это на «Элеоноре» Жан Маленький вышел в море в последний раз, и это «Элеонору» нашли

дрейфующей в тот день, когда он погиб, и с тех пор твой отец каждый раз, глядя на эту лодку, наверняка видит брата, который его зовет. Поверь мне, теперь, когда лодки не стало, ему полегчает.

Туанетта улыбнулась и взяла меня за руку маленькими пальцами, сухими и легкими, как осенние листья.

– Мадо, не переживай за отца, – сказала она. – Он справится.

Спустя полчаса я вернулась домой и обнаружила, что Жан Большой побывал там до меня. Дверь была приотворена, и, еще не успев войти в дом, я уже знала: что-то не так. Из кухни донесся резкий запах спиртного, а когда я туда вошла, под ногами захрустели осколки разбитой бутылки из-под колдунки.

Это было только начало.

Он побил всю посуду и фарфор, какие нашел. Все чашки, тарелки, бутылки. Блюда фирмы «Жан де Бретань», принадлежавшие моей матери, чайный сервиз, ликерные рюмочки, что стояли рядом в шкафчике. Дверь в мою комнату была открыта; ящики с одеждой и книгами вывернуты на пол. Ваза с цветами, стоявшая у кровати, раздавлена; цветы втоптаны в стеклянный порошок. Тишина до сих пор зловеще вибрировала от силы отцовского гнева.

Для меня это была не совсем новость. Припадки ярости у отца были нечасты, но ужасны, а за ними всегда следовал период спокойствия, продолжавшийся несколько дней, иногда недель. Мать всегда говорила, что именно эти затишья сильнее всего ее изводят; долгие интервалы пустоты, время, когда отец словно исчезал, присутствуя лишь на своих собственных ритуалах – визитах на Ла Буш, посиделках в баре у Анжело, одиноких прогулках вдоль берега.

Я села на кровать – у меня вдруг подогнулись ноги. Что вызвало эту вспышку? Потеря святой? Потеря «Элеоноры»? Что-то другое?

Я поразмыслила над рассказом Туанетты про Жана Маленького и «Элеонору». Я об этом понятия не имела. Я попыталась представить себе, что мог почувствовать отец, когда лодка пропала. Может, печаль о потере своего первого создания? Облегчение, что дух Жана Маленького наконец обрел покой? Я начала понимать, почему отец не явился на спасательные работы. Он хотел, чтобы лодка пропала, а я, дура такая, полезла ее спасать.

Я подобрала книгу – одну из тех, что остались, когда я уехала, – и расправила обложку. Кажется, его ярость была направлена в особенности на книги: из некоторых были вырваны страницы; другие растоптаны. Я была единственная любительница чтения: мать и Адриенна предпочитали журналы и телевизор. Я поневоле решила, что это разрушение было прямой атакой на меня.

Лишь через несколько минут я сообразила заглянуть в комнату Адриенны. Та была не тронута. Кажется, Жан Большой туда и не заходил. Я сунула руку в карман, проверяя, там ли фотография со дня рождения. Она была все еще там. Адриенна улыбалась мне через дырку, где я когда-то была, длинные волосы скрывали ее лицо. Теперь я вспомнила: она всегда получала какой-нибудь подарок на мой день рождения. В тот год ей подарили платье, в котором она была на

фотографии, – белое платье-рубашку с красной вышивкой. Мне подарили первую в жизни удочку. Я, конечно, обрадовалась подарку, но порой я задумывалась, почему же мне никто не покупает платьев.

Я лежала на кровати Адриенны – в ноздри мне бил запах колдуновки, а лицо упиралось в выцветшее розовое покрывало. Потом я встала. Я видела себя в зеркале на дверце гардероба: бледная, опухшие глаза, жидкие прямые волосы. Я посмотрела хорошенько. Потом вышла из дому, осторожно ступая по битому стеклу. Я сказала себе: в чем бы ни была проблема Жана Большого, в чем бы ни была проблема с Ле Саланом, исправлять их – не мое дело. Он предельно ясно дал мне это понять. На этом моя ответственность кончилась.

Я направилась в Ла Уссиньер, испытывая настолько сильное облегчение, что не могла бы признаться в нем даже самой себе. Я повторяла: я пыталась. Честно пыталась. Если б мне хоть кто-нибудь помог... но молчание отца, неприкрытая враждебность Аристиды и даже двусмысленная доброта Туанетты – все говорило мне, что я в одиночестве. Даже Капуцина, узнав, что я задумала, скорее всего, примет сторону моего отца. Она всегда хорошо относилась к Жану Большому. Нет, Бриман прав. Кто-то должен вести себя как разумный человек. А саланцы, которые отчаянно цепляются за свои суеверия и старые обычаи, в то время как море с каждым годом уносит все больше народу из их числа, скорее

всего, не поймут. Значит, Бриман. Раз мне не удалось убедить Жана Большого, что для него лучше, может, это удастся Бримановым докторам.

Я пошла длинной дорогой – к «Имморталям», мимо Ла Буша. Я никого не видела, кроме Дамьена Геноле, сидевшего в одиночестве на камнях с рыболовной сумкой и удочками. Я махнула ему рукой, он в ответ молча кивнул. Уже опять начался прилив – белый шум где-то вдалеке. Подальше, в самом узком месте острова, можно было наблюдать, как прилив идет сразу с двух сторон. В один прекрасный день талия, соединяющая тело Колдуна, пресечется, и Ле Салан будет отрезан от Ла Уссиньера навсегда. Я подумала, что это будет означать конец для всех саланцев.

На полпути к «Имморталям» я встретила Флинна. Я не ждала никого увидеть – тропа, идущая вдоль берега, была узка, и пользовались ею нечасто, – но он, кажется, совсем не удивился, увидев меня. Сегодня утром он вел себя как-то по-другому – бодрая беспечность сменилась сдержанной нейтральностью, огонек в глазах почти погас. Не из-за «Эленоры» ли, подумала я, и сердце у меня сжалось.

– Что, про святую никаких новостей? – Даже я слышала, как фальшив мой жизнерадостный голос.

– Вы идете в Ла Уссиньер.

Это прозвучало не как вопрос, хотя я видела, что он ожидает ответа.

– Повидаться с Бриманом, – продолжал он тем же невы-

разительным тоном.

– Кажется, всем очень интересно, куда я хожу.

– И неудивительно.

– Что вы хотите сказать? – Я услышала резкость в собственном голосе.

– Ничего.

Он, кажется, собирался пойти своей дорогой – сделал шаг в сторону, чтобы пропустить меня, глаза уже устремлены куда-то еще. Внезапно мне показалось, что ни в коем случае нельзя дать ему уйти. Хотя бы он должен меня понять.

– Я вас очень прошу. Вы его друг, – начала я.

Я знала, он поймет, про кого я говорю.

Он на мгновение застыл.

– Ну и что?

– Может, вы с ним поговорите. Попробуете его убедить.

– Что? – переспросил он. – Убедить его переехать?

– Ему нужен особый уход. Надо, чтобы он это понял. Кто-то должен взять ответственность на себя.

Я подумала про дом, битое стекло, растерзанные книги.

– Он может причинить себе вред, – сказала я наконец.

Флинн поглядел на меня, и я поразилась жесткости его взгляда.

– Звучит правдоподобно, – тихо сказал он. – Но мы-то с вами знаем правду, верно?

Он улыбнулся, совсем не дружелюбно.

– Речь идет о вас. Все разговоры про ответственность – в

конечном итоге они сводятся именно к этому. Как для вас будет удобнее.

Я хотела сказать ему, что всё совсем не так. Но слова, казавшиеся такими естественными в устах Бримана, звучали фальшиво и беспомощно, когда исходили от меня. Я видела, что Флинн в самом деле так думает, – думает, что я делаю все это для себя, для собственной безопасности, а может, даже в какой-то степени хочу отомстить Жану Большому за все годы молчания... Я хотела сказать ему, что это не так. Я была уверена, что это не так.

Но Флинн уже потерял ко мне интерес. Пожал плечами, кивнул и удалился по тропе быстро и бесшумно, как браконьер, а я стояла, уставившись ему вслед, и в душе у меня росли гнев и растерянность. Какого черта, да кто он такой вообще? Какое право имеет меня судить?

По прибытии в «Иммортели» мой гнев, вместо того чтобы утихнуть, разгорелся еще сильнее. У меня больше неоставало уверенности на разговор с Бриманом – помимо всего прочего, я боялась, что от первого же доброго слова плотину прорвет слезами, копившимися со дня моего приезда. Так что я вместо этого болталась у причала, наслаждаясь тихим плеском воды и яхточками, летавшими поперек залива. Для отдыхающих было еще рано; лишь немногие лежали на верхнем краю пляжа, под эспланадой, где рядком сидели на белом песке свежевыкрашенные пляжные беседки.

Я заметила, что через улицу с седла броского японского мотоцикла за мной наблюдает молодой человек. Длинные волосы свисают на глаза, пальцы лениво держат сигарету, джинсы в обтяжку, кожаная куртка, мотоциклетные ботинки... Я его узнала лишь через несколько секунд. Жоэль Лакруа, красивый и балованный сын единственного на острове полицейского. Молодой человек оставил мотоцикл у тротуара и перешел через дорогу ко мне.

– Вы нездешняя, да? – спросил он, затягиваясь сигаретой.

Ясно, он меня не помнит. И ничего удивительного. Последний раз я с ним говорила еще в школе, а он был на пару лет старше меня.

Он оценивающе разглядывал меня и ухмылялся.

– Хотите, я покажу вам окрестности? – предложил он. – Посмотрим виды, ну, какие есть. У нас тут насчет видов небогато.

– Спасибо, в другой раз.

Жоэль щелчком отшвырнул сигарету через дорогу.

– Где вы остановились, а? В «Иммортелях»? Или у вас тут родственники?

Почему-то – может, из-за этого оценивающего взгляда – мне не хотелось говорить ему, кто я. Я кивнула:

– Я в Ле Салане.

– Любите простую жизнь, а? На западе, среди коз и солончаков? А знаете, каждый второй саланец – шестипалый. «Тесные семейные связи».

Он закрыл глаза, потом взглянул на меня пристальнее, с запоздалым узнаванием.

— Да я тебя знаю, — сказал он наконец. — Ты Прато. Моника?.. Мари?..

— Мадо.

— Я слышал, что ты вернулась. Я тебя не узнал.

— И неудивительно.

Жоэль неловко откинул волосы назад.

— Так значит, ты вернулась в Ле Салан? Ну что ж, всяко бывает.

Мое равнодушие охладило его интерес. Он опять закурил — от серебряной зажигалки «харлей-дэвидсон» размером почти с пачку «житан».

— Мне-то подавай город. В один прекрасный день сяду на мотоцикл, и поминай, как звали, э. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Уж я-то не собираюсь торчать на Колдуне до конца жизни.

Он сунул зажигалку в карман и прошествовал обратно через улицу, к ждущей его «хонде», а я опять осталась одна перед пляжными беседками.

Я сняла туфли, песок под пальцами был уже теплый. Я опять почувствовала, какой толстый этот слой песка. В одном месте еще оставались со вчерашнего вечера следы тягача; я вспомнила, как колеса пробуксовывали в песке, пока мы напрягали силы, толкая покалеченную «Элеонору» к дороге; как тягач подавался под нашим объединенным весом;

и запах дикого чеснока на дюнах...

Я остановилась. Этот запах. Тогда я тоже о нем подумала. Запах ассоциировался у меня с Флинном и еще с какими-то словами Матиа Геноле – руки его тряслись от ярости, когда он отвечал Жожо Чайке, что-то насчет пляжа.

Ага, вот оно. «Он мог быть наш».

Почему? Удача переменчива, сказал он. Но при чем тут пляж? Я все никак не могла уловить нужную мысль; она пахла тимьяном, диким чесноком, соленым ароматом дюн. Ладно, это неважно. Я дошла до самой воды, которая опять поднималась, но не спеша, тонкими ручейками ползла через промоины в песке, просачивалась в низины меж камней. Слева от меня, близ пристани, был мол, свежееукрепленный каменными блоками, – получился широкий волнолом, уходящий в море метров на сто. На него уже карабкались двое ребятешек; я слышала их крики, так похожие на крики чаек, в чистом воздухе. Я попробовала себе представить, что было бы, если бы пляж был в Ле Салане; какое оживление в торговле он принес бы, какое вливание жизни. Этот пляж – вся ваша удача, сказал тогда Матиа. Бриман-везунчик в очередной раз оправдал свое прозвище.

Камни, составляющие волнолом, были гладки, не обросли еще морскими желудями и водорослями. С ближней стороны он был высотой метра два, дальняя сторона не так сильно возвышалась над землей. С той стороны накопился песок – его принесло течением. Я слышала, как двое детей игра-

ют там, кидаясь друг в друга горстями водорослей и пронзительно, возбужденно вопя. Я поглядела назад, на пляжные беседки. Единственная оставшаяся беседка на Ла Гулю торчала высоко над землей; я помнила ее длинные, как ноги насекомого, сваи, вбитые в скалу. В «Иммортелях» беседки плотно сидели на земле, под пол разве что ползком можно забраться.

Похоже, пляж-то прирос песочком, сказала я себе.

Внезапно меня озарило, а запах дикого чеснока усилился, и я услышала, как Флинн говорит: «причал, пляжик, все дела». Он говорил про Ла Гулю; я глядела на веранду и дивилась, куда пропал весь песок.

Дети все еще кидались водорослями. На дальней стороне мола водорослей было много; не так много, как бывало на Ла Гулю, но на «Иммортели» наверняка кто-нибудь ежедневно приходит их убирать. Подходя ближе, я заметила среди бурых и зеленых водорослей темно-красное пятно, которое мне о чем-то напомнило. Я поковыряла его ногой, сдвинув слой водорослей.

И тут я увидела, что это. Прибой жестоко обошелся с ней: шелк потерялся, вышивка распустилась, и вся она забилась мокрым песком. Но ошибиться было невозможно. Церемониальная юбка святой Марины, содранная со статуи в ночь шествия, – море вынесло ее на берег, но не на Жадину, как мы ожидали, а сюда, на «Иммортели», на счастье Ла Усси-ньеру. Вынесло приливом.

Прилив.

Внезапно я поняла, что дрожу, но не от холода. Саланцы винили в своих несчастьях южный ветер, но на самом деле это приливы переменялись; приливы, что когда-то загоняли рыбу к Жадине, а теперь ободрали Жадину, отняв у него все, что можно; приливы, что гнали ручей вспять, в деревню, которую когда-то защищал мыс Грино.

Я долго смотрела на кусок истлевшего шелка, едва осмеливаясь дышать. Я думала о пляжных беседках, о песке, о волноломе, который был тут раньше. В каком году его построили? А в каком году смыло пляж и причал в Ла Гулю? А этот новый мол, надстроенный на старый так недавно, что не успел еще и морскими желудями обрасти?

Одна мелочь тянула за собой другую; цепочки непримечательных событий, незначительные перемены. На таком маленьком песчаном островке, как Колдун, приливы и течения могут меняться очень быстро; и любое изменение может стать гибельным. Злые приливы смывают песок, сказал мне Гилен в ночь, когда мы спасали «Элеонору». Бриман защищал свои капиталовложения.

Бриман заботился обо мне, беспокоился насчет затопления. И закидывал удочки насчет земли Жана Большого. Туанетте он тоже предлагал купить у нее дом. Интересно, к скольким еще людям он подкатывался?

Первый мой порыв был сразу же пойти к Бриману. Однако, поразмыслив, я передумала. Я словно наяву видела его удивленное лицо, юморной блеск в глазах; словно слышала, как он смеется густым смехом над моими попытками объяснить свои подозрения. И он ведь был добр ко мне, почти по-отцовски. До чего же я злобная дура, что его подозреваю.

Я попыталась рассказать о виденном Капуцине и Туанетте, но их это совершенно не впечатлило. За ночь вода поднялась еще выше, и в баре у Анжело народ был еще унылей обычного – саланцы топили свои новые беды в вине, сохраняя мрачное молчание.

– Вот если б ты саму святую нашла... – ухмыльнулась Туанетта, показывая пеньки зубов. – Это в ней удача саланцев, а не в каком-то пляже, который тут, может, был тридцать лет назад. И еще: ты же не хочешь сказать, что святая Марина добралась до самых «Иммортелей», а? Вот это и правда было бы чудо.

Я старалась не дать воли отчаянию. Эти разговоры о чуде и удаче, кажется, лишь усиливали пораженческие настроения среди островитян, их пассивность. Словно бы мы с ними говорили на совершенно разных языках.

Конечно, на мысу пока так и не обнаружилось никаких следов пропавшей святой и в Ла Гулю тоже. Скорее всего,

сказала Туанетта, ее занесло песком, она зарылась в отливной ил у мыса Грино, и через двадцать лет на нее наткнется какой-нибудь мальчишка, ищущий мидии, – то есть если ее вообще найдут когда-нибудь.

Все деревенские были убеждены, что святая оставила Ле Салан. Те, кто посувернее, говорили, что опять будет Черный год; и даже молодые жители деревни были обескуражены потерей святой. «Празднество святой Марины – единственное, что мы делали всей деревней, – объяснила Капуцина, щедро подливая колдуновки себе в кофе. – Единственная возможность, чтобы сплотиться. А теперь все разваливается. И мы ничего не можем поделать».

Она показала на окно, и мне не нужно было выглядывать наружу, чтобы понять, что она имеет в виду. Ни погода, ни улов не улучшились. Августовские высокие приливы уже подходили к концу, но сентябрь должен был принести еще худшие, а октябрь – шторма с Атлантики, что прокатятся через весь остров. Океанская улица превратилась в полосу взбитой грязи. Несколько плоскодонок унесло в море, и они повторили судьбу «Элеоноры», хоть владельцы и вытащили их высоко на берег, далеко за линию прилива. Хуже всего было то, что макрель полностью пропала и рыбная ловля прекратилась. В довершение обиды рыболовы Ла Уссиьера переживали небывалый период процветания.

– Я не понимаю! – воскликнула я. – Что такое случилось с Ле Саланом? Все наперекосяк, дорогу наполовину затопило,

лодки уносит приливом, дома разваливаются. Почему никто ничего не делает? Что вы сидите и смотрите на все это?

– А что мы, по-твоему, должны делать? – бросил через плечо Аристид. – Попробовать остановить прилив, наподобие короля Кнута?¹⁶

– Что-то всегда можно сделать, – ответила я. – Как насчет волноломов, наподобие уссинских? Или укрепить дорогу хоть чем-нибудь, хоть мешками с песком?

– Без толку, – словно выплюнул старик, нетерпеливо дрыгнув деревянной ногой. – Морю не прикажешь. Все равно что плевать против ветра.

¹⁶ *Кнут* (Кнуд) *Великий* (995–1035) – датский король, а с 1016 г. король Англии. По преданию, велел приливу остановиться, но прилив не послушался Кнута, после чего тот благоразумно отступил, произнеся знаменитую фразу: «Хотя деяния королей и могут показаться великими в глазах людей, они ничто перед величием силы Бога».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.